



Владимир Орлов

**Шеврикука,
или Любовь к привидению**

ФТМ



Останкинские истории

Владимир Орлов

**Шеврикука, или
Любовь к привидению**

«ФТМ»

1993

Орлов В. В.

Шеврикука, или Любовь к привидению / В. В. Орлов —
«ФТМ», 1993 — (Останкинские истории)

ISBN 978-5-4467-2594-6

«Шеврикука, или Любовь к привидению». Знаковое произведение в творчестве классика современной литературы Владимира Орлова. Роман, полный тайн и загадок. Блестящее сочетание мистики и социальной сатиры. История домовых и привидений – возможность по-новому взглянуть на современные реалии. Напомнить о значимости выбора в нашем непредсказуемом мире, где каждый шаг человека влияет на его дальнейшую судьбу.

ISBN 978-5-4467-2594-6

© Орлов В. В., 1993

© ФТМ, 1993

Содержание

1	5
2	10
3	14
4	19
5	23
6	30
7	38
8	44
9	47
10	57
11	60
12	68
13	72
14	77
15	80
16	87
17	91
18	95
19	104
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Владимир Орлов

Шеврикука, или Любовь к привидению

1

В Останкине, как известно, живут коты, псы, птицы, тараканы, люди, демоны, ведьмы, ангелы, привидения, домовые и иные разномыслящие существа. Среди прочих и Шеврикука.

Домовым Шеврикука был приписан к зданию № 14 по 5-й Ново-Останкинской улице. Дом этот тянулся (и нынче тянется), не перегибаясь в спине, почти от улицы Цандера до Аргуновской. От созидателей он получил почтительный титул «Дом-корабль», в обществе же назывался «Землескребом». Если бы нашлись умельцы и поставили дом № 14 на попа, имелись бы основания считать его небоскребом. Но умельцы в ту пору добывали прокорм в Атлантик-Сити, Осаке, Абиджане, местные же труженики смогли лишь разложить новое останкинское жилище по земле, и Шеврикука получил в нем должность домового-двухстолбового. Название должности вывел, и, видно, натошак, какой-нибудь Почеши-Затылок или Раздолбай-Компьютер, задрипанный канцелярист с пятнами от фломастера на ушах, Шеврикуке скучно было его произносить. Хотя должность его и считалась на три степени выше пустячной. Но ее ли был достоин Шеврикука? Вот тебе раз, пеняли ему, и так вовсе не дом в три оконца из гнилых уже бревен, с летними капризами мух, с душевными томлениями угасающего сверчка, со злоющей старухой владелицей был уготован ему, а два столба в Землескребе, два подъезда о девяти покоях, этажах то бишь, с четырьмя квартирами при каждой двери лифта. Что врут, ворчал Шеврикука, откуда нынче три оконца? А в кураже он ерепенился, шуршал, шумел, он-де мог бы держать весь дом. «Ну вот, – замечали ему. – А куда же девать кадры?» Кроме Шеврикуки, поставлены были в Землескреб, по причине его протяженности, еще восемь домовых-двухстолбовых. Шесть из них, судя по ведомости, размусоленной все тем же невидимым канцеляристом, Почеши-Затылок, Дать-Ему-В-Рожу, Раздолбай-Компьютер, были и не коренными, московскими, а вывезенными из поселений, оказавшихся под водой. Вода, скорее всего, имелась в виду историческая. «Своих, что ли, не хватает? Мало ли в Москве домов рушат! – возмущался Шеврикука. – Зачем же еще и из далей завозить?» «Подремите в холодильнике, – говорили ему. – Экий вы горячий». А дальних не только завозили, иные из них пристраивались сами, сами пробивались из мест опустевших, помятых, погоревших, потопленных или осознающих себя помятыми или потопленными. Москва им представлялась в их запечьях и закутках Вертоградом многоцветным, где и стоило осуществлять служебное рвение, растеплять потухшие было привычки и предания в надежде, что тут-то – и нигде более – накормят пряником и наградят серебряной ложкой. Шеврикука не был высокомерен, сам когда-то в пору затей государя Алексея Михайловича и просвещенного боярина Ордина-Нащокина приехал в первопрестольную в обозе изпод Можайска, в мешке с горохом, но уравнивать себя с новоприобретениями столицы, на его взгляд, неумехами, однако наглецами, не имел сил. Оттого порой его числили в оппозиции и в засаде. Впрочем, причину тут выводили неверно, на домовых из соседних подъездов Шеврикука серчал нечасто и по делу, а так в отношении к ним был ровен и терпелив. Недовольства его и ворчания проистекали от иных досад.

Потянул бы он весь Землескреб. Почему бы и не потянуть? При нынешней-то нетребовательности москвича, напуганного смутой жизни, непременно потянул бы. Если бы захотел. Если бы его попросили. Но никто не просил. И не всякую просьбу Шеврикука согласился бы уважить. Если бы стали его улещивать останкинские чины и краснобаи, он бы их унизил отказом. А те, чье расположение могло оказаться и уместным, не просили. Хуже

того, было известно: те-то – не все, но один из тех – в разговорах, возможно, и печать налагающих, называли Шеврикуку плутом, лодырем, вралем, пройдохой. Еще и пронырой. И еще – бузотером. Ну ладно бы просто называли. Мало ли чего не наговорят сгоряча болтуны, пусть и самые рукодержащие. А то ведь и расставляли для него шлагбаумы. Может, даже и капканы, коли не брезговали охотничьим промыслом. Впрочем, капканами Шеврикука мог себя наградить и в мечтаниях. Кто он был таков, чтобы ставить ему капканы? «А вот таков! Таков! – раззадоривал себя Шеврикука. – Что и капканы закажут!»

Должен заметить, что среди прочих комплиментов слова «плут» и «проныра» менее всего обижали Шеврикуку. Ну плут, ну проныра – и что здесь дурного? Это именно в пятистенке с котом на печи, со сверчком, с хозяином, его женой и чадами был хорош тишайший лежебока, лишь бы дом благоденствовал и не прыгали бы по столу миски с борщом. А нынче-то, когда обслуживать приходится и не людей, не жильцов на Земле, а квартиросъемщиков, персонажей дэзовских бухгалтерий, с излишеством набитых в братских подъездах, друг от друга отличаемых фотоликами на карточках покупателей, натурами скандальными, как нынче-то не крутиться плутом и пронырой? Много ли выйдет проку без плутовства и пронырства? То-то и оно. А он, Шеврикука, был способный... И слово «враль» его не особенно раздражало. Ну враль, а кто теперь не враль? Хотя деликатнее и справедливее было бы аттестовать его фантазером. Или даже мечтателем. С воображением. Но то, что его отнесли к лодырям и лоботрясам, было Шеврикуке досадно. Сами кто они будут, аховые работнички! Только что дадено им носить в парадные дни кружевные воротники, штаны с витым шнуром-сутажом, а если парадные дни зимние – валенки, подшитые тремя слоями красной галошной резины и утепленные внутри кроличьим мехом. И опять же ходят легенды об их парадных бязевых кальсонах, будто бы они на гусином пуху и украшены сердитыми желтыми цветами с жостовских подносов. Да, унижать квартальных домовых, обзывать их, топтать на них ногами в этаких валенках и кальсонах им дозволено статусом. Но дообзываются и дотопаются.

Ну, предположим, теперь он лодырь и лоботряс. Оттого что надоело. Обрыдло. Сам себе позволил быть лоботрясом. Что нынче усердствовать в Останкине? Главное – не разрешить себе воровать, до этого Шеврикука еще не добрел и вряд ли добредет. Но судить о его сути, лоботряс он или не лоботряс, мог лишь он сам, а не всякие жующие пастилу чины с плоеными кружевами у шей (от испанских грандов, что ли, или от лотарингских гуманистов? Кому-то ведь, начитанному, ударило в голову, и зазвенели коклюшки). При этом, конечно, Шеврикука соображал, что, если бы его попросили и призвали, он бы и брыжжи одобрил, и валенки, и парадные кальсоны, но не призывали негодяи, отцы-командиры, держали в Землескребе, числили лодырем и все же наверняка ставили ему капканы. А ведь даже теперь при всех числителях и знаменателях судьбы Шеврикуки его подъезды в Землескребе были самыми опрятными. Знать об этом кому следует полагалось.

Удивительно опрятными. И не из-за намеренных напряжений Шеврикуки. Просто сам он был опрятен, таким сложился в ходе воспитания чувств и привычек. Возникали недомогания с мылом, зубными пастами, мужскими одеколонами, дезодорантами, и Шеврикука страдал. Хорошо хоть рядом произрастал Ботанический сад с травами и кореньями. Правда, на варево лечебных и чистых снадобий требовалось время. Шеврикука клял отечественную парфюмерную промышленность, бывшую в пору энтузиазма Трестом Жиров. «Где теперь наши знаменитые духи «Красная Москва», они же до Учредительного собрания – французские, «Подарок императрице», где их флакон с красной бумажкой? Ни духов, ни флакона!» – гневно восклицал Шеврикука. И варил снадобья, не торопя жидкость. Зачастил и в баню. Благо новые либеральные установления предполагали полуденные отгулы за ночные труды. А Шеврикуке хватало и часа полтора сна в календарные сутки. Впрочем, и прежде, даже и

при самых коварных порядках, он находил способы путешествий в парную. Хоть бы и прикинувшись березовым веником.

Опрятной была и одежда Шеврикуки, тем более что он добывал ее из воздуха. Когда-то Шеврикука (звали его иначе) и сухой горошиной мог проехать в мешке из можайского села Колычево в стольный град. Были времена, и не столь отдаленные, когда домовым и некоторым иным существам было предписано рожу человеку не казать, фигуры не иметь, внешним видом никого не пугать и не очаровывать, а лишь невидимо производить звуки и перемещать предметы. «А русалки? – роптали домовые на сходах. – Им можно! У них всего в обилии. И там, и тут. И чешуя. А что они умеют, кроме как щекотать? А лешие, а водяные! У них в сырости и в туманах фигуры, пожалуйста, проступают...» «Русалки нас не касаются, – разъясняли смутьянам. – Это потопшие девы... А лешие и водяные и обязаны пугать смутными фигурами». Понятно, что выражения недовольства и отпора ему приводятся здесь чрезвычайно упрощенные и простодушные, а домовые были вовсе не амёбы и не инфузории. Впрочем, что мы знаем толком и про амёбы с инфузориями?..

Но жизнь-то человека катилась, кувыркалась, неслась, отправляя высокомерием заблуждений домовых вместе со всякими костяными ногами, мальчиками-с-пальчик, обижающими людоедов, в фольклорные издания, в сноски к заключениям ученых умов, в мельтешение цветных картинок на экранах ради потехи детишек, и Шеврикука все чаще и чаще позволял себе, глаз кося на крутые предписания, гулять по Москве в человеческом подобии. Да разве он один! И никого своим присутствием он не смущал. Этот когда-то лишний человек в деревне, в слободе, еще в сороковые годы даже и в Москве, во дворах нашего Напрудного переулочка и уж тем более в коммунальной квартире, вызывал любопытство и требовал разъяснений. Но сколько в столетии случалось столпотворений, перемещений народов, несуряжиц с брожением умов и населения, погоняний кнутом и револьвером, каш людских, в коих удачникам полагалось ходить по головам, телам и душам. При них никаких разъяснений от лишних существ не требовалось. Словом, немало Шеврикука получил уроков прилежания и поведения. А теперь-то, когда Москва уже и не проходной, а пролетный двор, сосуд суеты, куда можно плюнуть, но плюют на тротуар; скопище людей, где сосед не знает соседа, где полно заезжих зевак, добытчиков с сумой на колесах, трибунов при микрофонах, командированных усовершенствователей народного блага, негодяев с автоматами, ножами и взрывными устройствами, виртуозов наперстка, летучего жулья, купцов с вареными штанами, бомжей, пришельцев, – чего теперь-то было опасаться в прогулках по городу домовому Шеврикуке? Паспорт если только или визитку предложат показать в магазине. Но для Шеврикуки вырастить сейчас же в кармане паспорт, талоны, карточки и еще что там введут было делом простейшим.

Помимо всего прочего, в уложениях произвели поправки, на взгляд авторитетного домового Артема Лукича исторические. Или судьбоносные. И раньше множество оговорок, конечно при угрозе непеременимых и полезных наказаний, позволяло домовым появляться «в телесном виде вблизи основного и первопричинного городского населения», под которым, естественно, подразумевались люди. Но появляться в случае крайней служебной необходимости, лишь «инкогнито», не открывая принадлежности к своему сословию и уж тем более – тайн сословия. (Слово «сословие», видно, льстило умам, его употребившим, или даже казалось им дерзким из-за объявленной в нем претензии, но никак не передавало сути той живой ветви мироздания, к которой относились и домовые.) В последние же сезоны, когда, по наблюдениям блюстителей правил, в мире, а у людей и в Москве в особенности, все разболталось (в Останкине – тем более), домовым «в телесном виде» было «дозволено свободное посещение людей». С отвагой дозволено. Или даже с вызовом. Этот вызов Шеврикука сначала почуял, а потом и определил на ощупь, а потом и вычислил. Эко на что замахнулись забияки или гордецы из их робкого и прикладного по предназначению сословия! Не

вдели ли они при этом гвоздики в петлицы или серьги в уши, не запели ли хором: «Мы с птицами будем на равных!», не побросали ли в костры муаровые ленты с вечными на них словами «Все для человека!»? Нет, конечно, такого никто и позволить себе не мог, никто и жеста не произвел с покушением на основы, что уж говорить о кострах, лишь несколько строк в документе было вычеркнуто и вписано тихонькое: «дозволено свободное посещение...» Но все же, но все же... Шеврикука чуял...

Немало нашлось и недовольных новым правовым допущением. Староверы всегда отыщутся. О прогулках Шеврикуки домоседы ворчали и раньше. Прохвост, он и есть прохвост, утешали себя, ему и зачтется. Сами же они продолжали невидимо кряхтеть и стонать в чуланах, в подполах либо на чердаках, а теперь на антресолях, в водопроводных трубах, полагая, что способствовать домашнему строительству они могут мыслями или же душевными посылами. Все иное – ложно. Телесный вид они принимать не собирались, лишь, получая повестки, выползали какими-то закорючками, кривыми засохшими колобками в присутственные места на выволочку или для поощрений. Впрочем, и с такими случались катавасии. Совершенно неожиданно никому не ведомый как личность, известный лишь по прозвищу Пост-Одоевский, домовый с улицы Кондратюка, из дряхлых ветеранов, вылез, наверное, из банки с чайным грибом, воплотился в бугая-отставника в выцветшем кителе со следами погонов и стал ходить на все демонстрации – и в Лужники, и на Манежную площадь, и к телецентру. Каждый раз он волочил с собой транспарант «Уравняем домовых в правах с таксистами и работниками метрополитена!». А потом завел и флаг с четырьмя полосами – фиолетовой, черной, оранжевой и серой. Был он в толпе уместен, никто его ни о чем не расспрашивал и не обижал. К тому же он так научился орать, что и желающих обидеть его не отыскивалось. Опять же никому не ведомый и не видимый домовый Попичкуев, из тех же колобков и закорючек, превратился вдруг в учтивого господина с «дипломатом», знающего четыре языка, слез со своего шестка и принялся играть на бирже. А домовый Непетушин, вылупившись из скорлупы и приобретя бороду, за пятерки писал на Арбате портреты проходящих мимо красавиц.

«Ох, бедовые! Ох, бедовые! – думал о них Шеврикука. – То дремали в оцепенении, а теперь ишь как раззадорились! А в подъездах дела запустят...» Впрочем, они запустили и без демонстраций, бирж и Арбатов, ему-то что. Да и стиль нынче в городе был такой, что его, Шеврикуки, опрятность могла показаться порочной или корыстной.

Сам Шеврикука транспарантов и знамен не носил, в уличной толпе был свой, ничем ее не раздражал и не давал поводов завидовать ему. Он производил впечатление мастерового лет тридцати двух – тридцати семи. Может, столяра хорошей руки, может, краснодеревщика, может, дамского портного, может, бутафора из Малого театра, может, лекальщика с самолетного завода. Видно было, что работы он исполняет достойно, а коллеги и заказчики его уважают. Бить такого не было причин. Да и задирать не возникало желания. Хотя по первому взгляду могло показаться, что он простак и обжегорить его ничего не стоит. Уж больно он ходил румяным и добродушным. Но потом наблюдатель мог заметить, что не такой уж перед ним и простак, один-то, левый, глаз Шеврикуки (серый по цвету) был именно простодушно и удивленно открыт, но правый глаз (тоже серый) при этом щурился, пожалуй, иронично, и уголок рта под ним чуть кривился, вызывая мысли о скептическом умонастроении Шеврикуки. «Ан нет, – являлось в голову наблюдателю. – Вовсе не простак!» К красавцам Шеврикуку отнести было никак нельзя, но кому-то открывалось в нем и нечто привлекательное. Шеврикука (ростом он был выше среднего), склонный к полноте, но пока не раздобревший, имел длинную шею любознательной личности, толстые уши, толстые губы и вполне заметный нос, притом как бы гнутый, с одного бока он казался толстым, в половину картофелины, с другого же его будто обтесывали стамеской, позволив потом коже лишь обтянуть кость. Над залысинами Шеврикуки и розовым лбом его торчал клок жестких русых волос, в пяти-

десятилетия, когда нравственные личности боролись с плесенью из коктейль-холлов, Шеврикука мог бы произвести его в стилижий кок. Но по нынешнему виду Шеврикуки выходило, что стилиг он наблюдал лишь грудным младенцем. Шеврикуке нравилось быть теперь именно тридцатипятилетним. Как-то в собрании домовых старик Иван Борисович запыхтел: «Что вы все головы морочите смутным временем! Смутное время, Смутное время! Переживали мы смутные времена, и не раз! А ту смуту помню. И Тушино, и самозванцев! И Шеврикука небось помнит». – «Нет, не помню, – резко сказал Шеврикука, обидев старика. – Я позже завелся». А ведь помнил, хотя и не был в Тушине. Много чего помнил Шеврикука. Но не хотел вспоминать...

А одежду он заказывал без претензий, самую ходовую, какую носили тихие москвичи его возраста и среднего достатка. Возможно, в душе он был франтом, но щеголять на улицах себе запрещал. Были на то причины. И чрезвычайно опасался Шеврикука выглядеть смешным. Из тканей милей всего был ему бархат, особенно цветов Веронезе, однако времена бархата не наступили или вовсе истекли. Шеврикука не мог дать публике поводов для веселий, а потому вместо бархатов надевал свитера домашней вязки, джинсовые штаны и куртки, против них он и не возражал.

Таков был останкинский домовый Шеврикука в ветреные июньские дни. Многим, знавшим его, он казался тогда смирным, доброжелательным, несклонным бить стекла и зеркала, вот если только ворчуном. Но кто в те ветреные дни не ворчал, не бранил порядки и их исполнителей? А Шеврикука лишь казался смирным и послушным. Он жил присмирившим и притихшим. На всякий случай. Чтобы ничего не проморгать и быть в готовности. Предчувствие волновало его: вот-вот начнется то, о чем он уже давно выстраивал предположения. Тогда и понадобится Шеврикука истинный...

2

Воскресные созерцания Шеврикуки были разрушены.

Если помните, Шеврикука спал мало. Но вот созерцать нечто в себе и в природе, совершать, закрыв веки, путешествия, разглядывать книги с просветительскими, но живыми картинками либо же читать сочинения, чувствительные или глубокомысленные, он был расположен. Тем более что времени у него хватало. При жильцах, а тем более при хозяевах приходилось бдеть, чуть ли не приговаривая в воодушевлении: «Рады стараться!» При квартиросъемщиках, да в двух подъездах, да на девяти этажах, ни о каких воодушевлениях речи не шло. Нет, порой Шеврикука и старался, но это когда он ощущал, что чья-то человеческая жизнь подлинно требует его опеки, тут уж он опять в силу воспитания становился незримым дядькой-опекуном при малых детях. А так он просто содержал подъезды в опрятности и ни в чьи житейские обстоятельства без нужды не вступал.

Поутру в воскресенье Шеврикука хотел откусать в чащах Лосиногостинского листа. Но передумал. Забрел в квартиру пенсионеров Уткиных, отбывших на дачу, и, съездившись там, улегся в кратере малахитовой вазы. В вазу ничего никогда не клали из почтения к камню и Даниле-мастеру, в ней сейчас было чисто, прохладно, и Шеврикука созерцал. И вдруг почувствовал, что в его владениях происходят безобразия. Или вот-вот произойдут. Так, услышал, что в соседнем, его, подъезде отключили воду. Что-то затевалось на четвертом этаже в квартире (№ 468) стервецов Радлугиных. Супруги Радлугины работали в сберегательной кассе, она – контролером, он чинил аппараты и любезничал с кассиршами. Радлугин, в пору, когда достопочтенный Егор двинулся в поход за очищение народных генов от влитого в них алкоголя, уловил возможность скорой карьеры и наградил себя изобретенным титулом – Старший по подъезду. Он принялся сражаться с бытовым пьянством, врвался в частную жизнь, корил неразумных, просвещал их насчет мирового заговора, рассылал филиппики по местам их работ, а предположив в квартирах винокурное производство, вызывал милиционеров с собаками, не переносящими самогон на дух. Шеврикука обиделся, в наглom и корыстном самозванстве углядел покушение на свои полномочия, приманив как-то Радлугина запахом яблочной косорыловки, дверью прищемил тому нос. Недели три волонтер великой войны с порчей генов ходил с бинтами на роже. И теперь у Шеврикуки не было к Радлугиным симпатии, и пусть бы у них все ломалось и дергалось. Но Шеврикука явно ощущал присутствие чужой силы. Или хотя бы чужого усилия. Никакие местные полтергейсты в подъездах Шеврикуки не развлекались, они знали его нрав и знали, что он может показать им барабашкину мать. Шеврикука вздохнул, потянулся и незримо перенесся в соседний подъезд.

Два сантехника волокли к Радлугиным розовый унитаз. Это в воскресный-то день. И сантехники были не дэзовские, чьи труды, конечно, требовали надзора Шеврикуки, но относились к числу положенных. Нет, волокли унитаз чужие. Один из них был кучерявый беле-сый малый в тельняшке с клипсой на ухе и сигаретой в зубах. Второй – крепыш лет сорока пяти, заметно, что бритый наголо, и, возможно, потому в кепке – казался личностью наглой и решительной. «Савинков какой-то», – пришло в голову Шеврикуке. А в малом с клипсой на повороте открылось и нечто знакомое. «Да это же Продольный! – поразился Шеврикука. – Завился подлец и тельняшку надел!» Продольный был домовый как раз из лимитчиков, подъезды его размещались в Землескребе в самом конце, у Аргуновской улицы.

– Эй, стойте! – закричал Шеврикука. – И вон отсюда!

– Это что? – спросил Продольного бритый крепыш. – Кто это шумит? Пресечь?

Шеврикука спохватился, возник из воздуха:

– Я вас сейчас так пресеку! Продольный, ты меня знаешь!

– Ты же не здесь, – растерялся Продольный. – Ты же сейчас в Лосином Острове...
– Я здесь. И в Лосином Острове, – сказал Шеврикука. – Это кто с тобой?
– Это дядя, – заспешил Продольный. – Дядя это. Мой. Из Липецка. Да? Ведь дядя?
– Дядя. Дядя, – хмуро подтвердил бритоголовый. – Успокойся.
– Что это ты тельняшку-то надел? – не удержавшись, задал лишний и бестактный вопрос Шеврикука. – По какому праву? Ты из десантников, что ли, или из морской пехоты?
– Это вас не касается, – грубо сказал названный дядя.
– Меня здесь все касается! – грозно заверил его Шеврикука. – А сейчас я коснусь вас с унитазом!

С криком он ринулся к лжесантехникам, пятернями ухватил каждого из них за шиворот и потянул вниз, к распахнутому лестничному окну. Продольный был легок, сам норовил взлететь и упорхнуть, липецкий же дядя упирался, казался Шеврикуке стальным сейфом, набитым дорогими слитками, да еще и унитаз не желал выпустить из рук.

– Вон! – рычал Шеврикука.

– Тельник-то не рви! – заверещал Продольный. – Чего пристал? Чего ты пристал к нам? Пожалеешь... Перепадет тебе! И привидению твоему... Твоей... Суке этой!..

– Ах ты, недопаханный! – вовсе рассвирепел Шеврикука. – Тельник надел! Да ты не из морской пехоты, а из морской капусты! Из заячьей!

Оба предпринимателя были доставлены Шеврикукой к окну, воздвигнуты им на подоконник, а потом и выдворены с ревом в останкинские воздушы из чужих владений. Продольный нырнул вниз рыбкой, а названный дядя опрокинулся на бок, как бы нехотя позволил себе, прищурившись, взглянуть в глаза Шеврикуке и, причмокнув, что-то посулить ему сквозь зубы. И в злом прищуре его было обещание уплатить по счету.

– Вещь-то выростили здесь ненужную! – Шеврикука подхватил оставшийся трофеем унитаз и вышвырнул его в окно.

Унитаз низвергался куда быстрее Продольного с дядей, способных, как выяснилось, совершать затяжные спуски с фигурами, Продольный изловчился поймать унитаз на лету, прижал его к груди и уже на асфальте прокричал что-то обидное Шеврикуке, и они с дядей, смешавшись с людьми, поспешили к Аргуновской улице.

– Что? Что? Где? – выскочил на шум сознательный гражданин Радлугин. – Унитаз жду. А тут звуки. Что? Где?

– Водку дают в разлив в шестьдесят втором магазине, – сказал Шеврикука и рассеялся в воздухе, оставив Радлугина в недоумении.

Сейчас же Шеврикука возобновил свободный ток воды по трубам подъезда и произвел следствие. И вот что открылось. Позавчера дама Радлугина обнаружила, что засоленный позапрошлым летом в пятилитровой банке зеленый крыжовник прокис. На исторический случай – либо гражданской войны, либо всеобщего разгильдяйства, либо глумления рыночной экономики – Радлугиными много чего было закуплено, засушено, засолено, замариновано, завялено, заспиртовано и в инспекторские дни подлежало ревизии. Прокисший крыжовник дама Радлугина решила наказать плаванием в туалетной воде. Только она приступила к делу, как банка выскользнула из ее рук и расколола унитаз. В ДЭЗе, хотя там скандалиста Радлугина и боялись, обещали установить беспорочный унитаз лишь через неделю. И то, скорее всего, из списанных. И тут вчера Радлугиной во дворе случайно повстречались два сантехника. От усталости они валились с ног и чуть ли не уткнулись в Радлугину своими ключами и фибровыми чемоданами. Слово за слово, «Братцы, спасите!», и договорились, что завтра же утром Радлугиным будет установлен новый унитаз, и не какой-нибудь, а розовый с зелеными крапинами. «Из резервов...» Определили и цену – полсотни.

Уже одна эта история была криминалом и давала повод Шеврикуке писать докладную записку. Но Шеврикука, заново и со вниманием исследовав происшествие, нырнул в подпо-

лье очевидного и выяснил, что Продольный недели две готовил предприятие с розовым унитазом. Где они с так называемым дядей его сперли, было уже неважно. Так вот. Продольный, без тельняшки и без клипсы, а в виде городского комара, ребенка асфальтовых мокрот, внедрил в квартиру чужого подъезда и попискивал над ухом Радлугиной. При его-то попискиваниях и прокис крыжовник, стал плесневеть, и Радлугиной внутренний голос подсказал утопить ягоду. А когда банка зависла над унитазом, Продольный укусил Радлугину в белую шею. Сделку же во дворе устроить было пустяком.

Шеврикука никак не мог успокоиться, и оттого течение мыслей в нем было рваное. «Неужели они из-за полсотни? – недоумевал он. – Из-за полсотни!» Домовые, в особенности в последние годы, подзарабатывали, порой и самым удивительным образом, на карманные расходы, на деликатесы, не предусмотренные распорядком жизни, на средства самообразования, да мало ли на что, хотя бы и на желтого попугая! Заработки эти не поощрялись, их брали, называли безвкусицей, позорящей честь сословия, иных шабашников и наказывали, приравнивая их чуть ли не к валютчикам, но скорее из-за стараний не потерять лицо. Каким карманам мешает валюта? При этом либеральными умами приработки признавались делом вынужденным, вызванным столетними ущемлениями прав домовых... Но это все болтовня, фикус с ней! Да пусть бы и промышлял Продольный с липовым дядей, пусть бы и подсовывал дуракам ворованный унитаз, его дело, но как он посмел, нарушив неколебимое, объявиться со своей затеей на его, Шеврикуки, заповедной территории? Неужели всякие Продольные и уважать его перестали?

Продольные ладно. Продольные могли по глупости. Или из-за утраты существенных понятий. С Продольным он разберется. Но ведь Продольный был способен и уловить нечто в атмосфере. Почувствовать неуважение к Шеврикуке тех, на кого он, Продольный, и ровня ему взирали снизу, верхнюю губу приоткрыв. А потому и позволить себе дерзость: намекнуть на увлечения Шеврикуки и даже пригрозить не только ему самому, но и якобы любезному Шеврикуке привидению. За это и за оскорбление барышни, пусть и небезупречной, будут пересчитаны все белые и синие полосы тельняшки прохиндея!

Но явление бритоголового, перед которым Продольный явно лебезил, должно было озадачить Шеврикуку. Не специальный ли этот дядя? И не специальный ли унитаз был вставлен в сюжет происшествия? И не нарочно ли унитаз назначили именно Радлугину? Вспомнилось Шеврикуке обстоятельство шестилетней давности и прежде не разъясненной. Когда Радлугин сначала назначил себя Старшим по подъезду, а потом и уговорил четырех несмирных ветеранов, единственно явившихся на собрание представлять население, избрать его Старшим («Да что Старшим! Верховным по подъезду!»), он в сражениях под знаменами неутомимого Егора одержал немало побед. В частности, вынудил пожилого чиновника Фруктова с шестого этажа произвести от страха и унижений расчеты с жизнью. Фруктов был тихий добряк, чиновник – совершенный, от движений бровей начальства взмокал на службе в усердиях. Но в общество трезвости вступать отказался. Ревнитель Радлугин с десяток писем отправил куда надо, с приложением фотографий, на них – стаканы, рюмки, сосуды и рядом Фруктов в разных видах и разных степенях веселия или тоски. Коли б не кампания, Фруктова бы мирно пожарили. И коли бы пришла одна бумага, ее бы куда-нибудь засунули. Или разорвали. А тут их десяток, и автор – зверь. И был дан Фруктову разговор со швырянием фотографий на стол, после чего робкий чиновник наелся таблеток и не проснулся. В прощальном письме Фруктов укорял Радлугина, чего он, мол, так осерчал на него, и ставил под сомнение фотографии. Пил он один, перед ужином для поднятия аппетита, и не чертики же его снимали, до чертиков он не напивался. Вопрос о чертиках не стали обсуждать, за Радлугиным стояла государственная правда. И вот теперь Шеврикуке пришло в голову: чертики чертиками, а не какой-нибудь невидимый Продольный обслуживал тогда Радлугина фотографом? И это в его, Шеврикуки, суверенном подъезде!

«Ее еще и сукой обозвал! – вновь вскипел Шеврикука. – А кто же я, интересно, в его мнении? И откуда он узнал про привидения, кудряш этот с клипсой? Или намеренно поставили его в известность? Затевают что-нибудь? А ведь могут, могут затевать!» Шеврикука был сердит, раздосадован, чрезвычайные, гневные речи произносил, чуть ли не с угрозами, понятно, не вслух. Но следовало ругать и себя. Он-то хорош! Он ведь сам допустил непорядок, впал в благодушие, глаза и уши заклеил, на что же он рассчитывает в грядущих событиях, если так распустил и разнежил себя?

Утро было испорчено, и день прошел в суете. «Непорядок! Непорядок!» – твердил себе Шеврикука, исследуя все подробности обоих подъездов, полы на лестницах и стены готов был мыть, сдувать пылинки, хотя и находил помещения чистыми, не знал пощады в отношениях с комарьем и мухами, крушил забредших из чужих пределов клопов, тараканов, мокриц, мучных жуков, не давая им надежд на помилование или амнистию, и даже стянул, склеил трещины радлугинского унитаза, увы, Радлугины были съемщиками в его подъезде. Хотя им и стоило подвесить ванну к потолку.

Суетой своей, пусть и мелкой, Шеврикука приводил себя в служебное состояние, необходимое для нынешних деловых посиделок. В восемь вечера Шеврикука был намерен явиться на толковище домовых в музыкальную школу. Посиделки могли оказаться нынче нервными.

3

Уже не нахал Продольный с дядей волновали Шеврикуку. Разбор истории с ними (хотя докладную, следуя правилам дисциплинарного канона, Шеврикука и написал) был отложен. Нет, он думал об ином. Храбрился, охлаждал себя, но уже не мог сидеть на месте и в семь вышел из дома. Быстро зашагал по улице Кондратюка, будто ему было необходимо ехать куда-то метрополитеном. На исходе Кондратюка он столкнулся с домовым Петром Арсеньевичем.

Хотел было проскочить дальше, ан нет.

– Здравствуйте, любезный Шеврикука, – раскланялся Петр Арсеньевич.

– Добрый день, – вынужден был остановиться Шеврикука.

– Разве вы не туда? – удивился Петр Арсеньевич.

– Я?.. Отчего же, и туда... Но ведь рано. А потом и туда. То есть... Я...

– Так пойдемте вместе, – предложил Петр Арсеньевич. – Не спеша.

– Ну да, ну да, – буркнул Шеврикука.

Петр Арсеньевич, домовый из углового строения на Кондратюка, был церемонным мухомором, отвязаться от него Шеврикука вряд ли бы смог. Люди дали бы Петру Арсеньевичу лет семьдесят с накатом, на улицы при публике он выползал с тростью, инкрустированной перламутром, летом носил чесучовые брюки и чесучовую же куртку, был почти лыс, имел седые усы и бородку клинышком, делавшую его отчасти похожим на умильного дедушку, пребывавшего некогда всесоюзным старостой. Впрочем, Петр Арсеньевич относился к тому дедушке дурно. В Останкине Петр Арсеньевич считался домовым несущественным, когда случались посиделки, ему полагалось присутствовать лишь в прихожей. Что уж говорить про Совещания?

– Отчего это посиделки, – принялся размышлять Петр Арсеньевич, – стали устраивать в выходные дни?

– Телевизоров насмотрелись, – сказал Шеврикука.

– Ах, да, да, – закивал Петр Арсеньевич. – Видимо, так. А вот... – тут же он замолчал, отважиться долго не мог и все же произнес: – А что вы, любезный, слышали про сокращения?

– Какие сокращения? – спросил Шеврикука.

– Ну, не сокращения... Ну, может, перетасовки... Или как по-нашему?.. Повсюду ведь перетасовывают... Опять же по телевизору...

– Не знаю. Не слышал, – сказал Шеврикука.

Он знал. Он слышал. Но не захотел огорчать старика.

– Ну да, – вздохнул Петр Арсеньевич. – Это вас не коснется. Вы фигура заметная. И живая. Не то что мы, древние развалины.

– Не скромничайте, Петр Арсеньевич, – сказал на всякий случай Шеврикука. – И не нагоняйте на себя страхи... заранее...

– А вот... Поговаривают... – сказал Петр Арсеньевич. – Эти... отродья... – и тростью было указано на Останкинскую башню, – в поход будто на нас хотят пойти... Войну, говорят, желают начать... Тогда, может, будет не до сокращений, не до перетасовок этих?.. А?

– Да неужели вы, Петр Арсеньевич, – поморщился Шеврикука, – не успели привыкнуть к войнам или к перетасовкам?

– Ах, да, да! – мелькнуло рассмеялся вдруг Петр Арсеньевич, будто Шеврикука изволил отменить поводы его волнений. – Вы правы, вы правы... Однако, согласитесь, случай здесь особенный. Чаще мы оказывались при чьих-то чужих войнах, а тут намерены пойти походом именно на нас. Готовы ли мы к такому повороту дел?

– Зачем мы нужны-то им? – спросил Шеврикука. – На кой им этот поход?

– Кабы я знал... Но ведь поговаривают... И чувствуется напряжение энергий, – сказал Петр Арсеньевич. – Может, раздражаем мы их... Может, они от гордыни... Молоденькие, свежие, теплые, пар от них идет, и вот все ломать хочется... Мол, мы одни правы и одни могучи, а все остальные закоснели и идиоты... И положение их требует драки.

– Какое такое положение?

– А такое, – охотно принялся разъяснять Петр Арсеньевич. – Они-то ведь завелись не спросясь. Мы, положим, завелись тоже не спросясь. Дух хлеба, дух очага, дух, простите, щей, или что там варилось до щей. Но ведь когда это было? И уже когда мы признаны, установлены, вошли во все ведомости и протоколы, живем именно узаконенными, никому не мешаем и соблюдаем приличия. А они?

– Что они?

– Вот то-то! Что они! Они-то сами толком не ведают, кто они такие и зачем. Их распирает, дрожжи гонят их вширь и ввысь, они не знают пока, в чем останутся и какие формы им суждено принять. И при этом они незаконнорожденные. Каково им успокоиться-то? И каково усмирить свое высокомерие? – Тут Петр Арсеньевич замолчал, возможно, ему показалось, что он излишне горячится и шумит, а вокруг – любознательные. – Но это я все так, с чужих слов. Я-то никого из них и не видел. Вы хоть что знаете о них? Видели кого? Или, может, даже знакомы с кем?

– Ничего не знаю. Я ими не интересуюсь, – соврал Шеврикука. – И тем более ни с кем не знаком.

– Ну конечно, ну правильно, – закивал Петр Арсеньевич. – Но постойте, куда же вы несетесь, я не успею за вами, ноги у меня дряхлые, не ваши ведь... Да... И Чаши Грааля на Башне нет...

– Чаши Грааля? – Шеврикука остановился, перед тем в воздух чуть не взлетев.

– Чем я вас так напугал? – остановился и Петр Арсеньевич.

– Нет. Я так... оступился... Но какая тут еще Чаша Грааля?

– Чаша Грааля. Меч-Кладенец. Кольца Альманзора. Сокровища Полуботка. Что там еще? – сказал Петр Арсеньевич. – Простите, что я так высокопарно говорю. Но у них этого нет.

– А у нас есть?

– Любезный Шеврикука, – с укором улыбнулся Петр Арсеньевич. – А вы будто не знаете.

– Нет, я, конечно, слышал... легенды, песни, шуршание всякое... – смутился Шеврикука, он никак не мог прекратить валять дурака, от всех ожидал нынче подвоха, отношения с Петром Арсеньевичем были у него, как у пса с кустом барбариса, знал, что осыпается такой на углу улицы Кондратюка, и все, что он теперь-то пристал к нему, или – одинок и не с кем поговорить? А кто не одинок? Но вдруг Петр Арсеньевич и впрямь рыл ему яму или испытывал его... Шеврикука сказал: – А я это шуршание в голове не держу. Какой толк? Может, когда-то что-то и было у нас, но сейчас оно наверняка либо истлело, либо затупилось, либо обратилось в глину. Присутствие его полагалось бы чувствовать, а не чувствуется. Извольте. Прокладки в моих подъездах стираются чуть ли не каждый день.

И сам остался недоволен сказанным.

– Я вас понял... Извините, пожалуйста, что навязывался в собеседники, – Петр Арсеньевич потух, тростью тыкал в асфальт, будто ослеп. – Единственно скажу напоследок. Полагаю все же: оно, то, что было, и теперь не шуршание и не привидение. Напротив... Надеюсь на это.

Шеврикука резко взглянул на Петра Арсеньевича.

– Опять же извините, – грустно сказал Петр Арсеньевич. – Я говорил про свое, нисколько не имеющее к вам отношения.

Дальше они шли молча.

Детская музыкальная школа стояла прямо возле Землескреба. Прогулку Шеврикука совершил, но успокоиться ему не было дано. Метрах в ста от школы Шеврикука с Петром Арсеньевичем растворились в воздухе и возобновились личностями на втором этаже учебного заведения. Прежде, когда Останкино лишь переходило из полудачного состояния в городское, местные домовые собирались на Аргуновской улице в деревянном доме с башенкой. На первом этаже там были почта и сберегательная касса, на втором – жилищно-эксплуатационная контора. Ночью в помещениях конторы и сходились. А где же, полагали, еще? Но тот дом с башенкой снесли, а ЖЭКи, бывшие домоуправления, усовершенствовали, наградив их притом собачьими кличками – ДЭЗы и РЭУ. Ночью при ДЭЗах и РЭУ собираться отказались, иные робко, иные революционно, – неужели они проходят по ведомству эксплуатации жилья? (Раньше-то проходили и на каждое «цыц!» лапками дрыгать переставали.) Переругавшись, утихомирились с соблюдением достоинств и гражданских позиций и согласились собираться в детских музыкальных классах. Уж как бы при культуре. Тут, кроме классов, имелись и вестибюли, и учительские, и туалеты, и подоконники, и даже малый концертный зал. И потихоньку привыкли к тому, что именно здесь проходили теперь и ночные общения, и заседания клуба, и творческие отчеты домовых, и судилища, и деловые посиделки, и даже кутежи. Ревнителю нравов поначалу протестовали: «Дети и кутежи – несовместимо!» – вынуждая желающих предаваться весельям в диетической столовой при ресторане «Звездный». Но в «Звездный» и по ночам забредали подгулявшие мужики и бабы, грубили домовым, и те решили, что покой и безопасность они обретут лишь в музыкальной школе. Но когда объявлялись деловые посиделки, все иные встречи по интересам с ними совмещаться не могли. Хотя посиделки и были простым толковищем, стенограммы на них не велись и резолюции не принимались.

В прихожей перед учительской домовых сидело уже много. И Петр Арсеньевич тихо опустился на скамейку подальше от важной нынче двери. Знал свое место. До толковища оставалось семь минут, и Шеврикука подошел к окну, будто нечто чрезвычайное должен был рассмотреть сейчас на проезжей части. Сам же оглядывал запасных. Или резервистов. Сидели они скромные, почти безгласные, но с пониманием предназначенного им на лицах. Хотя из резервистов их никуда и не переводили, им доверялось лишь соблюдение традиций и церемониала. «Ба! – Рот открыл Шеврикука. – Да здесь же Продольный!» Как ни мала была роль сидельца в прихожей, но Продольный и до нее не дорос. Присутствие его при толковище было безобразием, и Шеврикука двинулся было к Продольному с намерением указать наглецу, что он оскорбительно лишний, но тут возник привратник и глашатай (им был нынче домовый с Аргуновской улицы Дурнев, он же Колюня-Убогий) и объявил: «Действительных членов просим в зал». Шеврикука как бы нехотя повернул к двери, но Колюня-Убогий его придержал и сказал: «Вас не велено. В списке нет. Вас не велено...» «Чего? Меня нет?» – Шеврикука не взревел, не зарычал, а произнес это шепотом, но зловещим, какой полагалось бы услышать и в дальних выселках – в Солнцево и в Бутово. Колюня-Убогий егозил, видно было, что страшился Шеврикуку, и слова, испуганные, смущенные, выползли из него: «Не велено... В списке нету... А я что? Кто я?.. Я не сам... Я сегодня здесь по расписанию...» «Да ты что! Я действительный член! А ну позволь!» – оттолкнул привратника Шеврикука и шагнул в зал, но движением руки распорядителя, домового Тродескантова, был остановлен. Услышал поразительное: «Вам сегодня определено место в прихожей». И сразу же понял, что остановлен не жестом Тродескантова, а колющим, властным взглядом неизвестного доселе на посиделках персонажа. Персонаж этот был бойцовского вида тяжеловес в темно-синей шелковой поддевке с косым воротником, подпоясанный крутым, витым

шнуром, бритый наголо, утром представленный Шеврикуке липецким дядей подлеца Продольного. «Шея-то какая! И затылок, – пришло в голову Шеврикуке. – Это уж и не Савинков, а считай Котовский!» И стало ясно, что утром тот прикидывался дядей, может, дурачась, но, может, и унижая себя, а кепчонку надевал маскарадную. «Я протестую! – теперь уже заревел Шеврикука. – Я действительный член!» Тродескантов в сомнении отправился было к домовым, стоявшим возле гостя (или как его называть?), но губы того скривились, и Тродескантов послушно заявил Шеврикуке: «Место вам сегодня определено в прихожей!»

Ошеломленный Шеврикука опустился на презренную скамейку сидельцев в прихожей. Ему тут же бы покинуть паскудное собрание, но уйти отсюда до исхода посиделок он не имел права. Да что не имел! И ушел бы! Однако – и сам стыдился признаться себе в этом – он еще надеялся, что сейчас дверь распахнется, перед ним сотворят поклон и призвут на совет. Дверь и впрямь отворилась, распорядитель Тродескантов что-то шепнул привратнику-глашатаю, и Колюня-Убогий, будто сам себе не веря, объявил: «Полного сбора нет. В зал приглашается Петр Арсеньевич, улица Кондратюка, дом номер два». Петр Арсеньевич поднялся, но, похоже, тут же должен был рухнуть в обморок, его подхватили под руки соседи и почтительно повлекли к недоступной им двери. Так уж и недоступной? Вот тишайший Петр Арсеньевич летá кротко сидел в прихожей, ни на что не претендуя, уж тем будучи доволен, что зовут из года в год, и нате вам! – чудесный поворот в судьбе.

Но каково было Шеврикуке! Эко его провели мордой по булыжной мостовой! Экое позорище ему учинили! Сколько сидело вокруг свидетелей его срама, замолкнув в испуге и удивлении! Поглядывали они на него, кто с любопытством, кто с состраданием, а больше-то небось ехидничая и торжествуя. И в зале при лучинах (пусть и в светлый вечер, но непрерывных, как дань преданию) наверняка думали теперь о нем, Шеврикуке. Думать думали, но говорили об ином.

То ледяная дрожь била Шеврикуку, то лава кипела в нем, требуя выплеска. Подходил привратник и глашатай Дурнев с колокольцем в руке. Колюня-Убогий, тварь жалкая, останкинское посмешище, юродивый, шут дрожащий, готовый перед любым, кто покрепче, лебезить и с бубном мелко попрыгивать, слюну изо рта пуская! Он и теперь, на всякий случай впереди, побитого хотел задобрить, бормотал виновато, склонившись над Шеврикукой, себе в оправдание: «Я ведь что... Я-то самый поганенький. Но ведь расписание. Вот по расписанию нынче я с колокольцем. А ты гневаешься на меня. И в обиде. И на наших. Они-то, может, и пустили бы тебя. Хотя иные и опасаются озорства... Но пустили бы... А этот строг. Который с полномочиями-то... Любохват... Оттуда (и пальцем – указ на юг, на Китай-город) ... Строг он и громок... А я что?» «Сгинь!» – цыкнул на привратника Шеврикука. Досидел до прощального звона колокольца и в мгновение, дозволявшее уйти с посиделок, ушел, ни на кого не взглянув.

Ринулся куда-то в синих, сухих сумерках, а куда – и сам не знал. Но не домой. «Все! – говорил он себе. – Час пробил!»

– Шеврикука! – окликнули его уже на Цандера.

Шеврикука обернулся. Сзади шагал церемонный мухомор Петр Арсеньевич. «Как настигла меня эта развалина? – удивился Шеврикука. – И тоже, что ли, примется сейчас оправдываться? Увольте!»

– Жизнь есть жизнь, – сказал Петр Арсеньевич. – Истолковывать что-либо нет нужды... Но коли вдруг возникают соображения о пробитом часе или о том, что Рубикон можно и не переплыть, а перешагнуть, не всегда следует спешить. Или быть сгоряча опрометчивым...

– Я не могу с вами вести разговор на равных, – бросил Шеврикука.

– А я, может, и не вам говорю, а себе... И себе же замечу, что дела у нас с Отродьем этим, с духами Башни, выйдут серьезные. Увы, слишком серьезные. И в скором времени...

Да... А вслух я бормочу опять же по старости, оттого что все во мне спотыкается и тяготится существованием... Пребывайте в здравии...

Петр Арсеньевич поскрипел к себе на Кондратюка.

4

«Ну нет! Все! – повторял Шеврикука уже дома. – Час пробил! Они еще спохватятся, они еще приползут с горячими словами... Но все! Час пробил! Рубикон...» Какой еще Рубикон, сейчас же возмутился Шеврикука, этот мухомор и свежий выдвиженец Петр Арсеньевич одарил его Рубиконом, и истребить память о нем не было у Шеврикуки хлорофоса. Или нафталина. «Рубикон! Чаша Грааля!» – не при лицейских ли кафельных печах обитал в свои золоченые дни Петр Арсеньевич, и ныне обласканный? Летел, что ли, он за ним, Шеврикукой, вчера, чтобы бормотать вслух? Хоть бы и летел, пусть его намеки и подсказки и останутся при нем, а он, Шеврикука, будет жить и сгоряча, и опрометчиво. И не испугает его надзирающий взгляд уполномоченного в шелковой поддевке, бывшего липецкого дяди, бывшего сантехника, умыкнувшего унитаза, напротив, лишь подтолкнет его к крайностям и полетам. Но найдет ли управу Шеврикуке этот так называемый Любохват? Шеврикука относил себя к сведущим, умел слушать и расспрашивать и что-то не помнил никакого Любохвата. Нигде такой прежде не проходил. Возможно, был вызван или поднят из сургучовых недр и прозвище, сладкое, как тульская коврига, получил во временное пользование. Его дело. Шеврикуке все одно – дядя он или уполномоченный Любохват!

Так храбрился, хорохорился в обиде и гордыне Шеврикука, задирая себя и своих недругов, находящихся, впрочем, в отдалении. Сам же, утвердив себя в малахитовой вазе, принимал в расчет неловкость своего положения. Пробил уже не час, а по крайней мере двадцать один час с той секунды, когда решение было им бесповоротно принято. Но сразу, посчитал Шеврикука, нестись и вздыматься на Башню было бы некрасиво. Понятия «красиво» и «некрасиво» были чрезвычайно важны для Шеврикуки и сберегались в его алмазном фонде. К тому же нестись сразу было не только некрасиво. Возникли бы и подозрения... Но это все были отговорки. Шеврикука ощутил, что соваться на Башню робеет. Не то чтобы робеет (хотя и робеет), но находится в смущении оттого, что не знает, как и с чем на Башню являться в его нынешнем случае. Сто раз полагал, что рано или поздно ворвется туда, но разрабатывать практический план действий брезговал в уверенности, что все и так выйдет прекрасно и само собой. То есть получалось, что в нем жило лишь одно упование или даже греза, а холодной готовности не было никакой. Что же, теперь ему впорхнуть туда и обрадовать неизвестно кого: «Здравствуйте, это я, Шеврикука!»

Впрочем, один вариант явления Шеврикука в голове держал. Но сегодня он никак не подходил. И опытом удалцов последних лет, иных из них Шеврикука знал, воспользоваться он не мог. А уже утекали на Башню домовые. И пропадали там. Не возникало от них ни слуху ни духу. Ни строчки, даже и зашифрованной. Их называли предателями, перебежчиками, расстригами. Исчезли осенью два идеально послушных домовых. Чтобы в головах, подверженных соблазнам, не вспалились смута и ложные порывы, было разъяснено, что этих двух идеальных Отродья с Башни, растоптавшие всякие понятия о чести, выкрали для проведения страшных опытов. А потому предлагалось бдеть и блюсти себя. Обещали также усилить средства защиты и покрасить пограничные столбы. Каким образом утекали на Башню останкинские расстриги (хотя кто и когда подвергался здесь пострижению?), Шеврикука имел представление, но пробираться их тропинками не желал.

«А! Будь что будет! – решил Шеврикука. – Что сидеть-то здесь и робеть! И воробышного птенца не высидишь!» Крепкой оставалась в нем досада, да и температура поднялась отчаянная, сбить какую можно было лишь либо действием, либо снадобьем, но от него пришлось бы впасть в спячку сроком на семь месяцев. Уже уносясь к Башне, Шеврикука нашел в себе трезвые мысли и, как требовалось, отослал воздушной почтой докладную записку о

противоправных действиях домового Продольного и его соучастника, назвавшегося дядей. Приметы прилагались.

Разгон Шеврикуки был таков, что он, невидимый, чуть ли не ударился в одну из бетонных ног Башни, придуманных инженером Никитиным. Протекала темно-синяя июньская ночь, а на Башне копошились труженики, двери двигались, и Шеврикука, не впадая в раздумья, способные отвлечь, влетел в одну из продувных щелей. А дальше что? Тут тебе не музыкальная школа, в часы отдохновений пустая, тут – телевидение, да еще и кабак в небесах с интересом к иностранцам, отсюда люди не уходят, они мешают здесь и в собачьи, и в волчьи, и в петушьи часы, где же следует искать истинных хозяев Башни? Или – где ему необходимо оказаться, чтобы истинные хозяева эти его, Шеврикуку, учуяли, обнаружили и приняли во внимание?

Что и как внутри Башни, было Шеврикукой изучено зимой и весной. Да и во многих коридорах, буфетах, аппаратных, студиях, залах и даже туалетах Шеврикука побывал тогда исследователем, набросал и чертежи для лучшего воздействия на память (и сразу их сжег). Надеялся он и на свой нюх, на подсказки своей натуры, много чего испытывавшей. Он предполагал, где могли бы оказаться гнезда отродий (сейчас он и в мыслях не называл хозяев Башни Отродьями – вдруг мысли его читают), в тех местах и курсировал. Потом подумал: а что, если его, невидимого, никто или ничто не почувствует, не засечет, ни на одном экране его силуэт не засветится? Моментально принял вид жителя останкинских улиц и проездов, стал передвигаться по коридорам деловито, будто отбывал ночную смену. Выглядел он необходимым работником, в одном месте ему доверили отнести бухту кабеля («Кому?» – спросил Шеврикука. – «Как – кому? – удивились. – Или не помнишь? Пашке, едрена вошь!»), в другом – отругали за неповоротливость, вручили электрический полотер и велели пройти с ним коридор от огнетушителя до мужского туалета. Всюду спрашивали, нет ли сигарет, и это при требованиях «Не курить!». Натирал паркет Шеврикука со старанием, увлекся, но никто к нему не являлся ни от людей, ни от духов. Но только он прислонил полотер к стене, как его взяли под белые руки и повлекли ввысь.

Кто его волок, возносил в черной пустоте рядом с трубой для поднебесных лифтов, Шеврикука понять не мог. Похоже, существ легких, возможно, пушистых была стая, они суетились, толкались, верещали, шелестели, перекрикивались целлулоидными кукольными голосами из детских радиопередач, будто ускоренным движением пленки, и обидно для Шеврикуки щипались. «Что вы щиплетесь-то! – не выдержал Шеврикука. – Сдурели, что ли!» Он локтями повел, норовя кого-нибудь из воспарителей в назидание садануть, но те заверещали громче, засмеялись, явно радуясь неприятностям Шеврикуки. «Ах! Ах! Ах! А он недотрога! Недотрога! А он, оказывается, цветок жасмин! Ах, давайте, давайте его совсем не будем касаться! Ах, давайте его выпустим!» – «Выпустим! Выпустим! Выпустим!» Сразу же началось свободное падение Шеврикуки, приостановить его он не мог, закричал в испуге: «Эй, вы! Хватайте меня. Вам же велели меня доставить!» Шеврикука был согласен теперь и на щипки, и на щекотания. «Разрешил! Разрешил! Бесценный-то наш, ненаглядный-то наш! Барин наш ласковый! Разрешил! Хватайте его! Хватайте! Несите!»

И Шеврикука со свистом и смехом был изловлен, раскручен и сброшен в дикое помещение, ударился о стену, впрочем, не больно. Зажегся фонарь в чьей-то руке или лапе, луч его бил в глаза Шеврикуке. «Садитесь! – услышал Шеврикука. – Выкладывайте сразу, зачем пришли». «Я, что ли? – спросил Шеврикука, устраиваясь на полу, на мятном матраце, возможно, на татами. – А ни за чем. Просто так пришел. Прогуляться. Познакомиться». – «Ну и представляйтесь. Как вас именуют?» – «А никак, – сказал Шеврикука. – Пока никак. Да и не вижу я никого, кому бы следовало представляться. Не этой же шухере шелестящей». «Как он прав! Ведь как он прав!» – тотчас восторженно заторопились целлулоидные кукольные голоса, легкие, шелестящие спутники Шеврикуки стали подпрыгивать невдалеке. «Как

справедливо подумало о нас ихнее сиятельство! Благоухающий наш! Нежнейший! Что же сидите-то вы так неловко? Эдак и нога затечет! И брюки примять можно! Надо поправить! Надо удостоить нежнейшего!» К Шеврикуке подлетели, схватили его и не руками, не лапами, а клешнями, крутанули, и не раз, потом, держа за ноги, шмякнули носом о стену. Стоять на голове прислоненным к стене и оставили Шеврикуку.

«Да отпустите его! – прозвучал недовольно, скрипуче голос взрослого. – Усадите. Не надоело ли вам дурачиться!» Шеврикуку усадили, «ах, конечно, конечно, мы же обидели ребенка», угостив его при этом жестким апперкотом. Фонарь погас, справа и слева включилась желтоватая подсветка, и метрах в пяти перед собой Шеврикука увидел небольшое (с чемодан ростом) существо, возможно, механического происхождения. Трехчастное. Верхняя и нижняя части его были в ширину равны, средняя – чуть уже. Сразу же Шеврикука предположил, что верхняя часть собеседника – это его голова, средняя – туловище, нижняя, понятно, – ноги. Ног собеседник имел три. Или это были три планки. Нет, решил Шеврикука, планки – плоские, а тут – объемы, словно бы ребра старого водяного радиатора. Или палки нунчаки. Уже ведя разговор, Шеврикука подумал, что три симметричные «ногам» подробности головы – возможно, два уха и нос. В отличие от ног уши и нос двигались, правда, строго по горизонтали, то раздвигая, то сжимая голову-гармонь и отражая, вероятно, вибрации чувств собеседника. «Интересно, а какие у него могут быть дети? – задумался вдруг Шеврикука. И сам себе удивился: – При чем тут дети?»

– Значит, – сказал гармонь-радиатор, – зовут вас никак. И кто вы – неизвестно.

– Известно! Известно! – из-под потолка, из черно-желтой мороки опять заторопились кукольные голоса. – Зовут его Шеврикука. Он домовый двухстолбовый, то есть о двух подъездах, здания № 14 по 5-й Ново-Останкинской улице, в простонародье Землескреб.

Шеврикука кивнул. Он не опечалился: если располагали сведениями, то, стало быть, это именно те, на кого и следовало выходить. Или, вернее, не сами те, а хотя бы щупальца тех.

– Да, располагаем. И выясняется, что вы нам неинтересны. А потому вас надо вернуть к полотеру. Если, конечно, в причинах вашего явления сюда нет чего-либо примечательного.

– Чего-либо нет, – хмуро сказал Шеврикука. – Но теперь я чувствую себя неучтивым. Вы знаете, кто я, я же не ведаю, как называть вас.

– О! Это ли теперь должно вас заботить? – Планки растянулись, собеседник то ли удивился, то ли рассмеялся. – Называйте хоть Риббентропом. Так зачем вы пришли? И с чем?

– Ни за чем. И ни с чем, – решительно сказал Шеврикука.

– Если вы полагаете, что вам предоставят более значительного собеседника, то вы ошибаетесь. Других собеседников у вас не будет. Вы стоите на своем?

– Стою, – сказал Шеврикука, впрочем, после некоего молчания.

– Да он же секретный агент! Он же замочную скважину ищет! И игольное ушко! – ожили сразу над Шеврикукой кукольные голоса, заверещали, завибрировали, расталкивали друг друга. – Секретный агент! А мы-то глаза занавесили! Ату его! Ату! На шампур его и в реактор! В печь термостойкую! Агента задрипанного!

– Цыц! А вы (уже Шеврикуке), означенный двухстолбовый, не правы. Пожалуй, я зря пообещал отправить вас к полотеру. Вы вспомните: кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино? Никто. Желаете себя сохранить – произнесите существенные слова. Хотя бы два слова. Времени у нас нет. У вас – тем более.

Как на японском мелком календаре, при смещении его, возникает новая картинка, так при резком движении собеседника Шеврикуке открылась вместо горизонталей гармонь-радиатора (или сквозь них?) фигура, явно схожая с человечесьей, и синие глаза блеснули, однако тут же видение исчезло. «Что он хочет от меня? – думал Шеврикука. – Какие два слова ему произнести? «Чаша Грааля», что ли?»

Собеседник вздрогнул:

– Да, да! Хотя бы два слова!

– Нет у меня никаких слов, – сказал Шеврикука.

– Что же вы нам голову морочите! – воскликнул собеседник. – Что от дел отвлекаете! В порошок его, в сыпучий! Под зад коленом! В реактор, в режим распада! Под зад коленом! Триста плетей по обезвоженным местам!

Дальнейшее Шеврикука помнил плохо. Его опять подхватили, теперь уже с гиканьем и посвистом, крутили, трясли, пинали, то в пропасти швыряли, то винтом возносили в поднебесье, и все в Шеврикуке замирало, засовывали в недра жестяной бочки и били по ней кувалдами, потом втиснули в ржавую водопроводную трубу и сжатым воздухом погнали на восток. Здесь сознание Шеврикуки погасло.

5

Очнулся Шеврикука на берегу Останкинского пруда.

На черной воде в платной прогулочной лодке сидел водяной Марафетьев с удочкой в руке. «Часа два ночи», – сообразил Шеврикука. Ночь стояла тихая, теплая, и люди на Поле Дураков и по тротуарам улицы академика Королева, пусть и редкие, шлялись. Водяной Марафетьев сидел в полосатых плавках спасателя, фетровой ковбойской шляпе и за спиной имел гитару. На всякий случай Шеврикука пожелал помахать водяному рукой, но сразу же понял, что Марафетьев его приветствия и не заметит. Он, Шеврикука, лежал глубоко в цветущих кустах шиповника. При попытке подняться застонал и принялся браниться. Все в нем болело. Все, но в некоторых местах боль была особенно ощутимой. Исследовав географию боли, Шеврикука пришел к выводу, что добросовестнее всего экзекуторы отнеслись к устному распоряжению: «Под зад коленом!»

Ковыляя домой, Шеврикука не раз оборачивался, грозил кулаком Башне и находил слова, каким позавидовали бы подсобные рабочие рыбных магазинов.

Потом клокотание в нем поутихло. «Кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино?» – вспомнилось Шеврикуке. А он возвращался. Понятно, они могли и лукавить, кто-то вдруг и вернулся, иное дело – как и в каком виде. А он, несомненно, возвращался. И возвращался Шеврикукой. И он почувствовал себя чуть ли не победителем. Видали, экий Шеврикука-то он!

Однако победные песнопения звучали в нем недолго, и с унылой рожей явилась мысль: ну и какие такие достижения в том, что он уцелел и возвращается? Накануне о возвращении он вовсе и не пекся. И выходило, что он проиграл. Он упустил шанс, который вряд ли еще представится. Его не приняли всерьез, не признали даже достойным темницы или измельчения в порошок, его отрыгнули за ненадобностью, не считаясь с приличиями и без боязни последствий. А если рассудить холодно, переведя себя в состояние студня из свиных ног с желатином, то следует признать, что более других виноват был он сам. Он ведь знал, куда рискнул проникнуть, готовился к капканам, унижениям и даже пыткам, роль себе сочинил и выстроил и вдруг – к собственному изумлению – повел себя гордецом, дерзил собеседникам. «А зачем они кривлялись? – начал оправдываться Шеврикука. – Кривлялись-то зачем?.. Голосами дурными верещали, щипались, вспоминали Риббентропа, балаган устраивали... Зачем?..» «Их право, – тут же ответил себе Шеврикука, – не они тебя приглашали, ты сам изволил их посетить». Отважившись двинуть в поход, был согласен на любого собеседника, да что согласен – мечтал о любом собеседнике, а заполучив его, надо полагать, что и не «любого», принялся ему хамить. И тогда еще терпение у них не иссякло. Хотя бы два слова существенных они желали от него услышать. Коли сам приволокся. И не услышали. Возможно, их устроили бы и «Чаша Грааля», а он и о ней не сказал. («Далась тебе эта «Чаша Грааля»!» – опять удивился себе Шеврикука.) Дурак, он и есть дурак, добавить тут нечего. Ну, живой, ну, вернулся, а дальше что? Что дальше-то? Ведь он уже и в мыслях выкорчевал себя из привычной жизни. К тому же как пребывать здесь, как служить после воскресных посиделок?

«А-а-а, – в отчаянии решил Шеврикука, – сяду-ка я на больничный. Выправлю-ка я больничный и отсижусь. И дядя, уполномоченный, фикус меня не достанет. А там посмотрим!»

Добывать больничные Шеврикука и при непоколебленных состояниях своей натуры был умелец, теперь же и ловчить не стоило, а надо было лишь предъявить дежурному знахарю спину и задницу («сдувал пыль с лампочек, рухнул вместе с люстрой, сами знаете, какие выпускают, пусть и по конверсии») и удалиться от недоброжелателей в спасительное

укрытие постельного режима. И Шеврикука немедленно посетил ночного знахаря. Дежурил тот в калекопункте на четвертой липе (если встать передом к Хованскому проезду) Поля Дураков, зевал в безделье. Бумагу выправил вмиг. Шеврикука получил снадобье для растирания («нынче туда добавлены шакальи выбросы, из Замбии, некоторые суют вовнутрь, но я бы не советовал»). В малахитовой вазе Шеврикука решил обдумать происшествие дня заново и всерьез, мысли по дороге от пруда и домой казались ему теперь неразумными, зыбкими, суетными. Но тут же ощутил сигнал: в его подъездах опять нарушалось благонравие. «Нет меня! – протестуя, в воздух, сделал заявление Шеврикука. – Я больной! На больничном! Болею болезнью!» Но шум опять происходил из окрестностей квартиры активиста Радлугина.

«Ну попадитесь мне сейчас подлец Продольный и уполномоченный дядя!» – возмечтал Шеврикука.

Однако и сам Радлугин, так и не вознагражденный ведомствами судьбы розовым уни-тазом, был встревожен и раздосадован не менее, нежели Шеврикука. Шумели над ним, в квартире кандидата наук Мельникова, и на ближних пролетах лестницы. Радлугин звонил в «Скорую», в милицию, к пожарным, машины приезжали – и белые, и желто-синие, и красные. Но и отбывали. Выяснив причины ночного праздника, лица, вызванные Старшим по подъезду, проявляли непростительное благодушие, никого не брали, не окатывали струей, никого не убеждали резиновыми доводами, а говорили: «Историческая неизбежность. Человечество прощается с прошлым. Пусть порезвятся напоследок. К шести разойдутся».

Уснуть супруги Радлугины не могли, в пижамах толклись у двери, приоткрытой на две цепочки, и время от времени обращались к народу с пронзительными призывами и назиданиями. «Не митингуйте, – отвечали им без злобы, но с усталостью и печалью. – Вот метро поедет, и мы уберемся». А стрелки подтянулись к трем.

Шеврикука в приличном виде ввинчивался в компании курящих вблизи квартиры Мельникова и скоро вызнал все обстоятельства. Вот что было. Упразднили Департамент Шмелей. Длиннее: Департамент, управлявший полетами шмелей. В бумагах название Департамента выглядело еще более протяженным. Дело к тому шло. Той самой исторической неизбежностью, о которой справедливо напоминали Радлугину медики, милиционеры и пожарные, Департамент был поставлен в очередь. Теперь номер его выкликнули. Упразднили. Разогнали. Изничтожили. Компот сварили из чиновников, объявив, что накладно над-зирать из первопрестольного населенного пункта над шмелями, да и противно это естеству природы, пусть перепончатокрылые летают, кушают, плодятся и совершенствуются сами по себе. Патриоты Департамента учинили прощальный бал. Гуляли в ресторане. Когда утихли, околев, ламбады и эскадроны мыслей шальных, решили продолжить. Кто где. Вспомнили, что талант, а может, и гений Митя Мельников, малахольный и великодушный, может многих вместить в своей холостяцкой квартире. К нему и бросились. И хорошо сидели. Теперь догуливали, курили, зевали. Впрочем, иные были еще резвые и неутоленные.

– Ба, и вы здесь! – Шеврикуку хлопнули по плечу.

– Я? – Шеврикука даже растерялся. – Да, я здесь... Здесь я...

Приветствовал его квартироръемщик Сергей Андреевич Подмолотов, проживавший на втором этаже и хорошо Шеврикуке известный.

– Вы тоже, что ли, в нашем Департаменте работали? – обрадовался Подмолотов. – А я и не знал. Я сегодня со многими познакомился, с кем, оказывается, работал.

– Нет, – сказал Шеврикука. – Я здесь случайно. Я ведь тоже живу в этом доме. Возможно, мы с вами сталкивались во дворе, в магазинах, в очереди за квасом...

– И не только за квасом! – рассмеялся Подмолотов. – То-то я вижу – лицо знакомое.

– Конечно, конечно, – закивал Шеврикука. – И мне ваше.

– А на Северном флоте вы не служили?

– Нет. На Северном я не служил.

– Тогда, наверное, в Севастополе?

– Нет. И в Севастополе я не служил.

– Ну и ладно. Тем более следует промочить горло. Пойдемте к Мельникову.

И Подмолотов повлек упировавшегося Шеврикуку из коридора к столу. Сергей Андреевич Подмолотов был мужчина шумный, из породы громобоев, он и носом издавал громкие звуки, нос этот был солидный, трубой, напоминал нос Корнея Ивановича Чуковского. Сергей Андреевич в Департаменте трудился в должности инженера по технике безопасности, но и во дворе и в доме его знали прежде всего как бывшего и доблестного моряка. Срочную службу он проходил на непотопляемом крейсере «Грозный». Его и называли во дворе не Сергеем Андреевичем и не Серегой, а то Крейсером, то Грозным.

– Митя! Мельников! – загремел Подмолотов. – Смотри, кого я привел! Вот, видишь! – И уже шепотом: – Запомнил, как вас именуют, в голове нынче все перемешалось, извините...

– Меня? – замешкался Шеврикука. – Игорем Константиновичем...

Он сам себе был удивлен. Случались эпизоды, когда в людских компаниях и передрыгах ему приходилось придумывать себе имя и отчество. Но «Игорь Константинович» никогда не являлось ему в голову, и не было никаких объяснений, почему теперь он объявил себя именно Игорем Константиновичем.

Впрочем, никто на него, похоже, не обратил внимания. Дмитрий Мельников, узкий в кости, деликатного сложения блондин, кивнул из вежливости. И ему, наверное, лицо Шеврикуки показалось знакомым. Но Мельникова, вцепившись в куртку, тянул к себе возбужденный собеседник с намерением то ли расцеловать Митю, то ли плюнуть ему в физиономию. И собеседник этот проживал в Землескребе. Департамент в пору расположения к нему городских властей выбил здесь немало квартир. Собеседник Мити был экономист Дударев, красавец мужчина лет тридцати пяти с коварными тонкочерными усами графа Люксембурга или князя Эдвина, покорившего королеву чардаша, вертопрах и плясун, в словесных баталиях способный обескуражить и самого Радлугина. Наконец, Дударев расцеловал Митю. Но тут же гордо оттолкнул его от себя и сказал:

– Ты – мельник, колдун, обманщик и вор, и дело наше, еще и не начатое, а значит, и тем более хрупкое, желаешь предать!

– Почему я обманщик и вор? – пьяно пробормотал осевший на стул Митя.

– А потому что опера есть такая композитора Фомина «Мельник – колдун, обманщик и вор». Или сват. Не важно. Лучше вор! Ну ладно, мельник ты теперь только по фамилии. И небось уже не колдун. Стало быть, остался только – обманщик и вор!

– Почему я обманщик и вор? – обиженно повторил Митя. – Почему я...

– Ты, Дударев, не прав, – вломился в разговор Подмолотов. – Ну конечно, Митька уже не мельник. И где они, мельницы, где? Где мука? Где вермишель и рожки? Но колдуном-то он может быть, их-то хватает!

– Могу! – тут же откликнулся Мельников. – Колдуном – могу! И прабабка моя была колдуньей. Под Дмитровом. В селе Ольгово, в имении Апраксиных, там, где Пиковая Дама на портрете... Колдуном – могу!

Сил у Мити хватило лишь на это заявление, веки его смежились, он заснул.

– Все он врет! – заключил Дударев. – И дело наше поддержать не желает!

– Какое дело? – спросил Подмолотов.

– Тише! Тише! – зашипел на него Дударев. – Неугомонный не дремлет враг!

Сейчас же из угла комнаты воздвигся человекобык с бокалом в руке и запел: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и-и-и, – палец певца поперся вверх, превращаясь в восклицательный знак или в жезл управителя движением, – и-и-и как один умрем в борьбе за

это!» «Бордюков, успокойся!» – приказала певцу крепкая обильная дама, похожая на метельницу ядра, сама будто выложенная из ядер, за столом она хозяйничала, и ее слушались. Вот и Бордюков, испив из бокала, крикнул, сел и успокоился. «Бордюков – это наш кадровик. И по общим делам... – зашептал Шеврикуке Подмолотов, видимо посчитавший, что свежего человека следует просветить. – А соседка его – Совокупеева, она передовых взглядов и всегда в президиумах, тоже экономист, как и Олег Дударев, но сознательностью выше... А вон та барышня, раскраснелась вся, это наша прелестная Леночка Клементьева, музыковед, она из музыкального управления. Бывшего, конечно, бывшего...» «Какое в вашем Департаменте могло быть музыкальное управление?» – усомнился Шеврикука. «А как же! – Подмолотов сомнениям Шеврикуки чуть не обрадовался. – А моряк-то великий, пусть и не служил на крейсере «Грозном», но за сколько лет все предвидел и написал «Полет шмеля»! Леночкино управление занималось биомузыкой, расшифровкой серенад и трудовых песен шмелей, других разных насекомых. Леночка, скажем, вела стрекоз, ну я еще кое-что, вы понимаете... – Тут Подмолотов зашептал совсем тихо, губы его почти сжались. – Конечно, мы и шмелей курировали, и их процветанию содействовали, но и не только... Много чего секретного... Теперь другое мышление. И правильно... Но было, было... Вот и Митя Мельников, Эдисон с Яблочковым, такие темы разрабатывал, такое изобретал, что и рассказать нельзя, талант и гений!» «Точно! – подтвердил усевшийся рядом Дударев, плясавший только что за стеной, налил всем в рюмки жидкость бурого цвета и тоже зашептал: – Митьке-то давно быть доктором, академиком, а он лодырь и карась, он и теперь уже такое соорудил, почти соорудил, что чего хочешь материализует. Вот все, что Крейсер Грозный врет, и это материализует!» «Я никогда не вру! – обиделся Подмолотов. – Нигде. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Ты же знаешь». «И такого человека, как Мельников, разогнали и сократили? Как же так? – не поверил Шеврикука. – Его куда только с почетом не звали, а он сказал: буду как все. И его не сдвинешь». «Дурак он! – вспомнил возмущенно Дударев. – Колдун, обманщик и вор! И дело наше поддержать не хочет! Предатель!» – «Какое дело?» – «Тише! Ша! Замолкли! – зашипел Дударев. – Выпьем лучше! А Ленка-то как на него смотрит. Тоже дуреха из оленьего стада!» Музыковед Леночка Клементьева, рекомендованная Шеврикуке Подмолотовым, и впрямь во все время их разговора не сводила с Мельникова черных глазищ, восторженных и жалеющих, и все видели, что она в Митю влюблена. На Митю глядел и ее приоткрытый рот. Хотелось бы сказать: ротик. Но нет, у Леночки был именно рот, и большой, нисколько, впрочем, ее не портивший. И вызывавший даже предположения, что Леночка – барышня не только благоуханная, но и страстная. Теперь она явно желала подойти к Мите и замереть возле него, оберегая Митин сон. Но сила вмещенного в нее напитка подняться ей не позволяла. «И-и-и! – опять взлетел палец Бордюкова. – Как один умрем в борьбе за это!» Теперь певцу на глотку не наступили, а даже попросили начать кантату «От края до края по горным вершинам, где вольный орел совершает полет», и он, обнаружив в себе ансамбль Александрова, просьбу ринулся исполнять. Бордюкову стали подтягивать. Хоровое пение в Останкине никогда не умирало, менялись лишь вкусы и пристрастия любителей. Долгие годы здесь, как помнилось Шеврикуке, звучали все более трогательные, бередящие душу или, напротив, обнадеживающие слова. Вроде таких: «Ромашки спрятались, опали лютики...» Или: «И снится мне не рокот космодрома...» Или: «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом!» Или: «Из полей доносится «Налей!» И конечно: «Горная лаванда!» Где те устойчивые времена! Сейчас же получалось, что квартиросъемщики и их гости при хоровом пении из лирического состояния впадали в гражданское. При этом свирепели, и орали, и готовы были бить посуду. Шеврикука поглядывал на солиста, человекобыка Бордюкова, и прикидывал, перевернут ли стол вместе со спящим хозяином или нет. Не перевернули. Утомились... Тут он наконец разглядел, что на столах осталось и что с них уже было взято. При нынешних затруднениях к Мельникову принесли закуски и напитки из семейных добыч и запасов, все больше домаш-

него приготовления. Жидкость от разных специалистов была своего цвета – и бурая, и свекольная, и мутно-оранжевая, и прозрачная, как совесть отечественного налогоплательщика. «Кони сытые бьют копытами!» – забрал Бордюков. Его остановили предложением выпить за урожай и за преодоление кризиса в Новой Гвинее.

– Мо-ол-ча-ать! – вскочил вдруг на стул мелкий взъерошенный мужчина с тремя жетонами победителя соревнования на эпонжевой ковбойке. – Мо-ол-ча-ать! У нас что? Нам что – знамя вручили? У нас поминки. Мы упразднены. Мы сокращенные. Нас нет. Нет. Мы живые трупы. Мы привидения. А тут поют и пляшут! Ра-зой-дись!

– Свержов, успокойся, спать пора, баиньки пора! – Возле оратора сейчас же оказался легкий Дударев, стал за ногу стаскивать Свержова с кафедры, подоспела Совокупеева, она хозяйственно схватила Свержова, заграбастала его и повлекла из компании на покой.

«Наверх вы, товарищи, все по местам!» – стал размахивать руками Бордюков, приглашая публику открыть глотки и ответить Свержову и судьбе. «Это по-нашему, по-флотски! – одобрил Бордюкова Подмолотов, успел шепнуть Шеврикуке:

– А Свержова вы в голову не берите. Замначальника управления передних плоскостей. По режиму. Он, конечно, строгий. Да и как же ему без строгостей? Но вы не бойтесь. Это он на нервах». И последовал Бордюкову во вторые голоса.

И все же гулянье криками проявившего бестактность Свержова было расстроено. Вот уж и из песен исчезла энергия. И пили без тостов, кто как – кто с соседом, кто сам с собой, кто чокаясь с рюмкой или плечом дремлющего Мельникова. Шеврикука полагал, что ему пора раскланяться, но встать не мог. Трезвенником он не был, но и не увлекался, и уж под столами и заборами никто его не наблюдал. А тут он затяжелел. Может, на Башне его слишком растрясли и изволтузили. «Ну ладно, – говорил себе Шеврикука, – еще посижу, послушаю». Как это он прежде-то не проявлял интереса к Мите Мельникову и занятиям Департамента Шмелей? А вдруг и не случайно Продольный с уполномоченным дядей собирались заменить предмет из системы общей связи именно под Митей Мельниковым? Не был ли в их предприятии какой-нибудь особый смысл или технический фокус? А покойный Фруктов, до гибели доведенный, проживал прямо над Мельниковым! Так-так-так! Нет ли во всем этом темного, но и вызванного кознями сплетения обстоятельств, которое ответственный домо-вой-двухстолбовый проморгал? Чьими кознями? Из-за чего и ради какой выгоды? «Фу ты! – останавливал себя Шеврикука. – Глупости мерещатся, закусывать следовало борщом...» Тут на плечо Шеврикуке доброжелательно возложила руку крепкая дама Совокупеева. Рука ее была горячая, и сама Совокупеева исходила жаром. Или истомой. Нельзя сказать, чтобы возлежание руки на его плече вышло для Шеврикуки неприятным. Опять Шеврикука подумал, что Совокупеева может – и удачно – толкать ядро и вся сложена из ядер. «Как это материя, тряпки всякие выдерживают, как не треснут, когда ядра ее перекатываются?» И в этой ленивой мысли Шеврикуки не было неприязни, скорее содержался комплимент женщине. «Такая и в Доме Привидений бы не пропала, – подумал Шеврикука. И тут же на себя фыркнул: – Не пропала бы! Она там бы в первые привидения вышла, да еще бы и свечи в шандалах растопила!» В грезах Шеврикука перевел в Дом Привидений и Леночку Клементьеву, и Леночка увиделась там уместной. В тех же грезах сразу возникли чаровница Гликерия и бесстыжая Невзора, она же Копоть, и стали Шеврикуку гневно отчитывать, Шеврикука их не прогнал, он хотел всех, и хрупких, и обильных, примирить и обнять...

– Какая улыбка у вас благодущная! – услышал Шеврикука явно ласковые слова Совокупеевой. – И хохолок какой... И уши какие большие...

С плеча Шеврикуки горячая рука Совокупеевой двинулась к его лбу, потрепала жесткий клочок его русых волос, а потом захватила его левое ухо, сжала его, отпустила и стала гладить розовую мочку и ушную раковину.

– И такую женщину сократили? – млея, произнес Шеврикука. – И такую женщину упразднили? О чем же они думали...

– И сократили! И упразднили! – Рука Совокупеевой взлетела вверх, пальцы сцепились в кулак, и опустилась на стол, произведя переполох посуды. – Давай, друг, дернем с горечью!

Себе из криминальной по классификации Радлугина бутылки она плеснула бордовой жидкости в стакан, оглядела рюмку Шеврикуки в недоумении и заменила ее, как неспособную составить счастье, стаканом же, они дернули с горечью, и Шеврикука понял, что Совокупеева его сейчас повлечет. Но опять загремели, заголосили человекобык Бордюков и Свержов со значками соцсоревнователя, теперь вместе, вскочив на соседние стулья, правда, один выступал с песней, другой с устной прокламацией – звал с ружьем и на улицу. Но песня не была поддержана, и ружье не нашлось. В Шеврикуке же все текло и колыхалось, и состоялись минуты, когда жаркая дама Совокупеева увлекла его в приют любви, и было испытано им удовольствие, будто бы он откушал сдобный пирог с малиновым вареньем, только что вынутый на противне из духовки. А потом Шеврикука задремал.

Проснувшись, он ужаснулся: давно столько не спал. Сидел он за столом в квартире Мельникова, и из-под его рук и головы старались вытянуть скатерть. Шеврикука вскочил. «Как же это я? А дела? Дела! Ты на больничном! Ты на больничном!» – тотчас зазвенели над ним бубенцы. Шеврикука огляделся. Легкий Дударев, тихие поутру Подмолотов, Совокупеева и Леночка Клементьева убирали в квартире, и Шеврикука вызвался носить посуду на кухню. Совокупеева на него и не посмотрела, воспоминания о пироге с малиной из духовки предлагалось не держать в голове. Впрочем, воспоминания эти и не слишком были нужны сейчас Шеврикуке.

В коридоре под потолком, вытянув руки в ноги будто в полете, раскачиваясь, висел человекобык Бордюков и, не глядя вниз, нечто бормотал. Под ним стояли Митя Мельников и еще более, чем ночью, взъерошенный соцсоревнователь Свержов, уговаривая кадровика, корифея анкет и личных дел снизить к людям. Бордюков мрачно мычал и мотал головой. «Как это он башку-то смог пропихнуть в кольцо? – удивился Шеврикука. – Он же теперь ее оттуда не достанет». Митя Мельников из двенадцати колец, родственных гимнастическим, устроил себе под потолком место для умственных полетов и обывательских мечтаний. Имели же туземцы в Западном полушарии и до Колумбовых каравелл гамаки. Митя просовывал голову в кольцо, остальные кольца и ремни держали его туловище, раскинутые ноги и руки, Митя покачивался в квартирных высях, отдыхал, обмозговывал свои технические соображения, а то грезил. Но это Митя. А Бордюкову-то зачем потребовались выси? И каким макаром сумел он взлететь? Впрочем, не Шеврикуки это было дело. Спускаться на пол Бордюков не желал, а может, и не соображал, где находится. Совокупеева, выйдя в коридор, спросила, опохмеляли ли Бордюкова или нет, и, узнав, что не опохмеляли, посоветовала принести стакан «лигачевки», но не поднимать его к объекту, а поставить на пол. Увидев под собой самогон, Бордюков задержался, хотел было ввести себя в штопор, но не вышло. Подставили стремянку, с трудами и ругательствами высвободили тело Бордюкова, а голова не давалась, была в два раза шире кольца. Следовало кольцо пилить. Пока искали пилу или ножовку, Шеврикука, поморщившись, поднялся по стремянке, растянул кольцо, с тушей Бордюкова чуть ли не рухнул на пол, с метр вынужденно пролетел. Совокупеева удивилась, стояла озадаченная, впрочем, недолго. Действия Шеврикуки, возможно, укрепили ее в чем-то, она взглянула на него со значением, но сейчас никуда не повлекла. Ушла по делу. А Бордюков шархнул стакан и потребовал еще.

– Ну нет! – решительно сказал Дударев. – Все выпито, пролито и испарилось! Сам бы с удовольствием, но не имеем. Сейчас все вымоем, вытрем и пойдем в парк, там под каждым кустом сидят дяди Гриши и тети Грани, у них на квартирах курятся напитки и марочные, и ясновельможные.

Бордюков уныло кивнул, подниматься с пола не стал. Когда действительно все было вымыто и вытерто, Дударев предложил и Леночке с Совокупеевой участвовать в оздоровительной прогулке. Леночка, кротко, влюбленно взглянув на Митю Мельникова, было согласилась, но Совокупеева цыкнула на нее, заявив, что после вчерашнего надо думать не о душе, а о хлебе насущном. Хлебом-то все же именно и жив человек, а в три часа им с Леночкой назначен дорогой разговор в хорошем совместном предприятии.

– Да-да! Конечно! – рассмеялся Дударев. – В советско-йошкаротинском. Будете в ихнем «Макдональдсе» накрывать на стол. Подадите нам моченый горох: «Просим вас, мужчины!..» Мы-то как раз в парке и поговорим о деле. И Митечку заставим в него вступить.

– Заставим! – утвердил с пола Бордюков.

– Нет, – заявила Совокупеева. – В твое дело включиться, коли будет нужда, успеем. Нам с Леной надо сегодня сходить. А перед тем зайти в баню и к парикмахеру.

– Ну смотрите, – сказал Дударев.

6

Прежде останкинским мужчинам в утреннем и неотложном состоянии не пришлось бы шагать долго. Принял бы их и исцелил незабвенный пивной автомат на Королева, пять. Но, увы, в восемьдесят пятом году открылось новое внеисторическое сражение с пороком, в результате чего помещение автомата было даровано райотделу милиции. На моей памяти таких государственных сражений происходило много, начинались они всегда с души, с газетных слез матерей и жен, с печалей по поводу подпорченных бормотухой и вражьиими силами народных генов, а заканчивались исключительно повышением цен на сосуды, столь приятным населению. Но кампания восемьдесят пятого года оказалась особенно резвой и отечественно-спасительной. При ней не только повысили в нравственных целях цены, издали «Роман-газетой» тексты тихонравного медика Углова, обрадовали торговлю всех видов, но и вызвали беспредельное производство самогона, всюду называемого, независимо от удач изготовителей, «лигачевкой». А останкинских жителей лишили пивного автомата. Вот теперь наши знакомцы и шагали из Землескреба в Шереметевскую дубраву имени Ф. Э. Дзержинского.

Шагали они в шашлычную. Ни шашлыков, ни опасных для желудка «колбасок», возводимых в меню в достоинство купат, в той шашлычной уже не водилось. Там можно было заказать на закуску песочное печенье, а в случае счастливой торговли – морскую капусту и морское же существо кукумарию. Но зато рядом в зарослях бузины и черемухи обретались дяди Гриши или тети Грани, с ними несложно было порассуждать на предмет самогона, не вынимая из карманов визиток. Шеврикука вовсе не хотел идти в парк, но его уговорили составить компанию. Он даже сопротивлялся, бормотал что-то о делах, но Дударев, нынче самый порывистый и устремленный, удивился: «Какие такие, Игорь Константинович, дела, когда вы на больничном?» Тут и Шеврикука удивился: экий дотошный и ушастый этот Дударев, всего-то раз он и назвал себя Игорем Константиновичем, а тот удержал в памяти. Насчет больничного Шеврикука и вообще не помнил, что кому-то говорил о нем. Неужели его так разобрало ночью, что он принялся болтать людям про обстоятельства своего существования? Он и согласился пойти в парк с бывшими тружениками Департамента Шмелей, чтобы выяснить, не открыл ли он в загуле о себе чего и похлестче.

Но спутники по дороге в парк особого интереса к его персоне не проявляли. И если Дударев и Подмолотов выглядели оживленными и нечто предвкушавшими, то Свержов и Митя Мельников шагали молча и в печали, а Бордюков, вчерашний песельник, просто плелся. Можно было предположить, что эти пятеро в друзьях прежде не ходили. Возможно, лишь проживание в Землескребе делало их останкинскими земляками, да и разгон Департамента Шмелей сбил их в кучу. Отчего-то Шеврикука вспомнил о домовом Петре Арсеньевиче, хотя после воскресных посиделок сокращение вряд ли тому грозило.

– Ничего, ничего, сейчас поправим состояние, – обратился к Шеврикуке Дударев. – И о деле поговорим. Вы, Игорь Константинович, кто по профессии? Я, возможно, прослушал...

– Смотря что считать профессией, – сказал Шеврикука.

– Да, да! Конечно, конечно! Вы правы! Вот наш прекрасный Бордюков не имеет никакой профессии, а дела делал.

– Не делал, – сказал Свержов, – а портил людям жизнь.

– Это нас сейчас не касается, – махнул рукой на Свержова Дударев. – Так что вы, Игорь Константинович, умеете делать?

– Многое, – вздохнул Шеврикука. – Многое чего умею делать...

– Ну уж, наверное, не все, – рассмеялся Дударев. – Вот, скажем, то, что смог бы сделать Митечка Мельников, вы, думаю, не сможете. Он у нас уникальный талант. К тому же из колдунов. По отцовской линии.

– И по материнской! – добавил Подмолотов. – А вот морских узлов вязать он не может!

– Как твоя фамилия? – спросил Бордюков.

– Подмолотов, – сказал Подмолотов.

– Ударение? – спросил Бордюков.

– Подмóлотов.

– Не ври!

– Как у наркома иностранных дел. Но с приставкой.

– А ты его лично знал?!

– Я-то? Нигде, ни за что, ни при каких обстоятельствах! Конечно, знал. Мы строим в Бирюлеве, я тогда был в СМУ, он идет мимо, ему девяносто шесть лет, он говорит: ты, что ли, тоже Молотов? Нет, говорю, я Подмóлотов. Он говорит: ну все равно, давай выпьем, а у меня стакан в руке, я ему даю, он выпил, говорит: хороший спирт. Сталин, говорит, дурак, меня не уважал, а Хрущева, дурака, привечал.

– Все ты врешь! – сказал Бордюков. – Ты вот и на Мельникова грешишь, а сам, уж точно, ни одного узла связать не сумеешь!

– Я-то! – рассмеялся Подмолотов. – Это вот Игорь Константинович, возможно, не сумеет.

– Я сумею, – грустно сказал Шеврикука. – Хотя и надоело.

– А наркомов ты не пачкай! – заявил Бордюков Подмолотову. – И на узлы твои мне наплевать. Где у тебя ударение?

– Я Подмолотов. И все.

– Здравствуйте! Ты – Крейсер Грозный! – обрадовался Дударев. – Ты – Крейсер Грозный, и более никто!

– А узлы вы все равно не умеете вязать.

– Умею, – поморщился Шеврикука.

– Неужели и выбленочный?

– И выбленочный. Хотя он и противный. И кошачьи лапки. И удавку. И рыбацкий штык. И еще восемнадцать узлов, о которых вы и не знаете.

– Я не знаю?! – возмутился Подмолотов.

– Да, – сказал Шеврикука, – вы про восемнадцать узлов, на флоте не применяемых, и не знаете.

– Какие такие восемнадцать? – растерялся Подмолотов. – Да я все узлы знаю!

– Я могу назвать и еще тридцать узлов, о которых вы и представления не имеете.

– Никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах!

– Хорошо, – сказал Шеврикука. Он почувствовал, что сейчас начнет врать, фанфаронить и надо себя ограничить. И помнить, кто он есть.

– Ну-ка покажите выбленочный-то! – вдруг потребовал Свержов. – Я вот сейчас шнурки из ботинок выну.

– погоди! – сказал Дударев. – А полы вы, Игорь Константинович, циклевать можете?

– Полы, – сказал Шеврикука, – могу.

– А рубанком?

– И рубанком.

– А чтоб леща вяленого достать в Самаре? – спросил Подмолотов.

– Это не ко мне, – сказал Шеврикука.

– Я вас уважаю, – заключил Дударев.

– И леща не может! – стоял на своем Подмолотов. – И уж тем более не развяжет ртом двадцать девятый узел!

– Двадцать девятый, тридцать первый, тридцать восьмой ртом могу, – заупрямился Шеврикука. – А вот начиная с сорок третьего, извините, исключительно носом.

– Я тебя уважаю! – сказал теперь и Свержов.

– Сорок третьего морского узла нет, – покачал головой Подмолотов. – Сорок четвертый есть, а сорок третьего нет.

– А давайте поедem в «Кот д’Ивуар», – возмечтал Митя Мельников.

– Сколько ты нам положишь? – спросил Свержов Дударева.

– Не меньше семисот. Поначалу. Иначе вы и не прокормитесь, – сказал Дударев. Тут же взглянул на Шеврикуку: – А вам не смогу дать больше пятисот пятидесяти.

– Я к вам и не собираюсь, – сказал Шеврикука.

– Но-но-но! – погрозил ему пальцем Дударев. – Ишь, уже загордился!

Но уже приблизились к шашлычной. И была тут же обнаружена в зарослях тетя Грания, поход ее за трехлитровой банкой совершался не более двадцати минут. Расселись в воздушном зале шашлычной, день был сухой, не капало, сиделось хорошо. Поначалу молчали, разливали, пили, жевали, фыркали и находили, что стало легче. Похоже, что из Бордюкова, Свержова и Мельникова унеслась тоска, и даже увиделось им некое благополучие в мире и в собственных судьбах. А Дударев и Подмолотов выглядели еще более задорными. Дударев холил расческой коварно-крутые усы, поглядывал, нет ли поблизости каких-нибудь утренних дам, в надежде их развлечь. Но дам не было. А Подмолотов, Крейсер Грозный, явно хотел напомнить публике что-либо из своей вулканической жизни. Шеврикука и выпил всего полстакана, а опять отяжелел. Это было странно.

– Вот так же сидим мы однажды в Эфиопии, – сказал Подмолотов, – крейсер наш посещал с дружеским визитом, и заходят в бар американцы. Они такие же, как и мы.

– Ага! Прямо и такие! – поморщился Свержов.

– Такие же! – заявил Подмолотов. – Может, и еще лучше. Но не хуже. Тем более тоже моряки. Сразу поспорили, чей флот крепче. Естественно, мы их перепили. Очнулся я в госпитале. Но и перед госпиталем я кое-что чувствовал. Мы плыли по Амазонке.

– Ага! По Амазонке! – обрадовался Свержов. – Это какая же Амазонка в Эфиопии?

– Правильно, – кивнул Подмолотов. – Амазонка не в Эфиопии. Она в Бразилии. Нас срочно вызвали в Бразилию. Мы утром там.

– Где Эфиопия и где Бразилия?

– И что! – Подмолотов чуть ли не возмутился. – Под Африкой мы прошли туннелем. Скоростным. Там есть такой туннель. Секретный. О нем нельзя говорить. Но вы люди проверенные. Про Мертвую дорогу слышали? Ну? А этот успели достроить. Не всех сразу отпустили. И вот идем мы, значит, утром Амазонкой. Река дурная! Мутная. И выплескивается в океан. Валы катит. Не пускает. Но кого не пускает? Атомный гигант не пускает! Мы ей пальчиком: не шали, Амазонка! Сразу стала шелковая. Впустила. Но опять видим: дурная. Деревья вдоль нее стоят прямо в воде. Растут друг на друге. Корни у них залезть в глубину не могут, раскорячиваются, зовутся «дощатыми». Доски, а не корни. Во! Хотя и не доски. И все зверье попряталось, засело в лианах. Жулье. И попугаи. Ярких расцветок. Но кое-где все же берег как берег, и на нем поселения. Индейцы голые с пузатыми детьми, пупки торчат, тысячу лет не видели настоящих моряков. Монтесумы. Затерянный мир. Но вдруг – фазенды. Плантации. Негры маются там и тут. Из-за одной такой фазенды у меня и возникли затруднения.

– Куда вы шли-то? – спросил Мельников.

– А в Парагвай. Там несколько адмиралов русских. И генералов. Из эмигрантов.

– Погоди, – сказал Свержов. – Что на фазенде-то?

– А ничего, – сказал Крейсер Грозный. – Ничего. Идем мы и видим – слева по борту на берегу мужика и бабу привязали к столбам и бьют кнутах. Видимо, рабов. Мужик – негр, баба – белая. Красивая. Молодая.

– Изаура, что ли? – лениво предположил Дударев.

– Какая Изаура? – не понял Крейсер Грозный. – Не знаю – Изаура она или Виолетта. Или Флорелла. А только не по мне, когда женщину стегают кнутом. Я говорю капитану: надо или десант, или из орудия главного калибра. Он мужик вообще-то боевой, но тут русского моряка в нем одолел политик. «У нас государственная задача – Парагвай, мы туда и идем. Только туда. А у этих, возможно, семейные причины. Что вмешиваться? Известно, кто при этом получает в морду. И по заслугам». Ну я не мог слушать и смотреть. Я как стоял, так и бросился к левому борту и – ласточкой в мутную воду. Дую саженками, а по женщине опять – хлесть кнутом. Думаю, сейчас вы узнаете, почем Крейсер Грозный! И тут на меня в амазонской воде с боков, спереди, сзади подло напали мелкие сволочи вот с такими зубьями – как иглы в швейной машине. Очнулся я на койке. О чем вам начал докладывать. Лежу завернутый в Андреевский флаг. Где, говорю, я? Вы, говорят, в военно-морском госпитале на пристани Манаус. А как, говорю, она? Как там на плантации? Она, говорят, жива, обложена примочками, плантатор сбежал, фазенда сгорела. А из Сан-Паулу ночью прилетел Пеле, его, правда, мы не смогли к вам пропустить, но он передал цветы. Действительно, на тумбочке, салфеткой застеленной, кувшин с цветами. Васильки, ромашки, львиный зев, зверобой, колокольчики. И сухой лист. Если бы я не был флотским, глаза бы у меня заморозили. Растрогал меня Пеле. Миллионер миллионером, а знает, какие растения мне по душе. Не испортили мужика деньги. Распеленайте меня, говорю, смотайте с меня Андреевский флаг. Смотреть-то мы, говорит, сумеем, но только вы нас не торопите, вы распеленутый, может, огорчитесь. Это отчего же? А, говорят, вы плохо знаете наши природные особенности. Вы, говорят, возможно, об этих подлых пираньях придерживаетесь превратного мнения. А они не только всю вашу суконную форму русского моряка с брюками клеш сжевали, но и еще кое-что. Как, говорю, и главный предмет? Главный-то предмет, говорят, как раз в первую очередь. И что же мне теперь делать, спрашиваю? А это, говорят, мы не знаем. Опять же если бы я не был флотским, у меня по щеке тихо протекла бы слеза. А они говорят, то, что вы вчера просили, вам пришили взамен. И хорошо пришили. У нас в Манаусе хирурги не хуже, чем в Арканзасе или где-нибудь в Штутгарте. Но если пришитое вас будет тяготить, вы можете его на время отъединить. Вещь съемная. То есть, извините, говорят, конечно, не вещь. Но вы сами просили пришить именно это. И не просили, а требовали. И умоляли. Можно, естественно, посчитать, что вы требовали и умоляли в горячечном состоянии или даже в забытии, но вы убедили нас, что такова ваша мечта и воля. И сообразовали заверить письменное ходатайство. Вот, пожалуйста, оно. На трех языках. На русском тоже. И ваш отпечаток пальца. Операция проведена уникальная. Ну и сматывайте с меня, говорю, Андреевский флаг. Они потупились. А вдруг, говорят, теперь в моменты слабости вы расстроитесь? Что хоть пришили-то, спрашиваю? Анаконду, отвечают. Какой длины? Одинадцать метров, экземпляр крупный. Да вы что, кричу, чем же я ее в Москве кормить буду! Это кто – кобель-анаконда или сука? Кобель, успокоили. Вот, говорю, его тем более небось не заставишь жрать мороженный картофель или брюкву. И не надо бы, советуют. Анаконда – змей водяной, конечно, рыскает и по земле, но предпочитает пребывать в струях. Кушает и рыбу, надеюсь, что рыба в Москве есть. Ну рыба-то есть, говорю, минтай, хек с головами и без них, мойва. Пока есть. Они обрадовались, приободрились. Если бы вы не просили сами, говорят, именно анаконду, мы бы ее ни за что не пришили. Но вы объяснили, что вы флотский и змей вам нужен водяной. Другое дело, что вы требовали восемнадцать метров, а где их взять? Экземпляры в семь метров уже большие, в девять – просто огромные. Исключительно из уважения к вашей личности мы отыскивали одиннадцатиметровую донорскую

особь, а насчет восемнадцати вы нас чрезвычайно извините. Несмотря на братство народов и дружеский визит, мы оказались бессильны. Ну ладно, говорю, не расстраивайтесь, какого змея пришили, такого и буду содержать. Расчехляйте! Они приступили. Не без волнения. Стали разматывать Андреевский флаг. Торжественно, по протоколу. А анаконда-то почувствовала ослабление режима и зашевелилась. А когда нас с ней окончательно распеленали, она от радости взыграла. Сначала вроде как бы танцевала в воздухе надо мной, в кольца складывалась, а потом выпрямилась в полный рост. Но под углом, потому как мешал потолок. Ну, я вам скажу, змей!

– Бреешь ты! – поморщился Бордюков.

– Не мешай! – осадил его Дударев. – Ну и врет! А ты не мешай!

– Никогда не вру! – сказал Крейсер Грозный. – Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Игорь Константинович не даст соврать. И на пленку это все снято. Там уж вертели и с телевидения, и от газет, и из рекордов Гиннесса. Они попросили, чтоб я не сразу усмирил змея, чтоб хоть полчаса дал ему побыть в полный рост. У них работа, я понимаю. Я их уважил. Но на полчаса. Через полчаса отбой. Велел змею укладываться. Несите, говорю, с крейсера мне брюки и исподнее. Вам, говорят, надо еще лежать и лучше это делать в пижаме. Это моряку-то в пижаме? Ну все равно, говорят, вам надо сшить особенный костюм с необыкновенными внутренними помещениями. Мне смешно. Какие такие костюмы могут быть лучше черноморских клешей! И нашего исподнего! Принесли. Говорю Анаконде: готовься к размещению. Встаю. Натягиваю клеш. Сопротивляется, гад, но чувствует мой характер и силу тамбовского сукна. Крякнул, но застегнул все, что надо. Ремнем и пряжкой закрепил власть над зверем. Ни на одних флотах нет таких клешей и пряжек, как у нас. И зверь, чувствую, присмирел. Пусть, думаю, недоволен, но привыкнет.

– Ну и где же он теперь? – спросил Свержов.

– Где надо, – сказал Крейсер Грозный.

– Погоди, – сказал Дударев. – А функции он исполнял?

– Исполнял, – кивнул Крейсер Грозный.

– По обмену веществ? Или какие?

– Всякие.

– И что же, были охотницы?

– Были?! – хмыкнул Крейсер Грозный. – Мне от них приходилось скрываться. Особенно как дали сюжеты с нами по телевизору. И в кино. В ихних «Новостях дня». Поначалу-то змей и сам хорохорился, гад оказался ненасытный. Он ведь и смазливый, чешуя блестит, гладкая, оливково-серая, по верху два ряда бурых пятен. А морда! Морда смышленная, ноздри раздутые. Одно слово – удав. Какие только дамы не набивались к нам в подруги!

– А ты предпочитал рабынь?

– Для черноморского моряка нет рабынь! Но такие, я вам скажу, находились охотницы и эгоистки, что ради удовольствия готовы были стать проглоченными и переваренными. Может, прежний змей их бы и переварил, но мой был уже флотский. Рыцарь. Никого не сожрал. А только лелеял. Но жрать был горазд. Волокли ему рыбу, птицу, кроликов, мелких копытных.

– И долго вы куролесили?

– Четыре месяца, – сказал Крейсер Грозный. – Ровно четыре. По просьбам президентов, их жен и дочерей командование разрешило мне быть гостем Латинской Америки. Серега, сказал мне адмирал, постарайся. Ты, сказал он, можешь послужить делу укрепления не хуже, чем наши боевые визиты дружбы. Я – руку к бескозырке! Но потом змей устал. И залег в ил.

– В какой ил?

– Во влажный, – сказал Крейсер Грозный. – Эти гады, эти удавы, эти змеи водяные, эти Анаконды имеют обыкновение. Случись засуха, они тут же мордой, а потом и всем телом – во влажный ил. И в спячку. И дрыхнут так, пока не начнется сезон дождей. Ушлые. И мой туда же. Хотя никакой засухи и не было. Устал. Наскучило ему. Укатали сивку крутые горки. Раскланялся я с Латинской и Центральной Америкой и вернулся продолжать срочную службу в Севастополь.

– С Анакондой? – спросил Дударев.

– Со змеем, – успокоил Дударева Подмолотов. – Тем более что он съемный. Я для него завел чемодан. С дырками. С иллюминаторами. В Крыму он стал зябнуть. Кашлял. Но привык. И опять, гад, пустился в развлечения.

– В Москве ему и вовсе холодно. Небось сюда его и не взял?

– Взял, – сказал Крейсер Грозный. – Закончил службу и взял.

– И он не буянил?

– Сам просился.

– Хорошо, – сказал Дударев. – А если бы тебе пришили не его, а ее?

– Могли бы пришить и ее, – задумался Крейсер Грозный. – Там хорошие хирурги. Она бы давала в год до семидесяти детенышей. В яйцах. А то и больше.

– От тебя?

– Почему от меня? От себя.

– Так-так-так! Семьдесят детенышей! В яйцах! – Дударев воодушевился, достал из кармана блокнот. – Семьдесят яиц в год!

– Да что ты пишешь! – взревел Бордюков. – Кому ты веришь? Этому брехуну?

– Ну и пусть врет! – сказал Дударев. – Слушай и не мешай. И ты, Мельников, слушай. Здесь и для нашего будущего дела есть направление.

Тут Шеврикука чуть было не высказался. И он за все годы трудов в Землескребе не наблюдал каких-либо свидетельств проживания в здании, во дворе его и вообще в Останкино гигантского водяного удава. Но Шеврикука сейчас же сообразил, что лучше молчать.

– Где она? – орал Бордюков. – Предъяви!

– Я не обязан носить змея все время, – сказал Крейсер Грозный. – И нет нужды. У меня у самого восстановилось.

– Может, он ввинтился теперь башкой во влажный ил? – предположил Свержов.

– А хоть бы и в ил, – сказал Крейсер Грозный.

– Но засухи нет!

– Нет, – подтвердил Крейсер Грозный, и глаза его стали чрезвычайно хитрыми. – Засухи нет. Но у него свои резоны.

– Может, он в том, в детском пруду? – спросил Свержов. – Или в пруду, что у Башни?

– Может, и там, – сказал Крейсер Грозный. – Он свободный змей в свободном государстве. Где хочет, там и проживает. Мало ли у нас водоемов. Но я бы на его месте сидел бы сейчас в Ботаническом саду, в Главной Оранжерее. Там пальмы, там бананы, там в воде цветут лотосы и виктории. И всюду порхают амазонские мухоловки.

– Мельников, обрати внимание и на это признание! – сказал Дударев и опять что-то записал в блокноте.

Шеврикука был совсем тяжел, веки его склеивались, но при упоминании Оранжереи он встрепенулся, то ли в испуге, то ли в недоумении:

– Анаконда в Оранжерее?

Благоразумие, все еще не погасшее в нем, заставило его немедленно замолчать и не встречать в беседу ни с какими вопросами. Но и испуг, и недоумение не прошли. Бразильский змей невдалеке от привидений? Но вдруг этому Подмолотову, этому Крейсеру Грозному, известно нечто о привидениях и их доме?

– Идиоты! Жертвы перестройки! – опять заорал Бордюков. – И правильно, что вас сократили и выгнали! Кому вы верите!

– В Департаменте Шмелей, – сказал Свержов, – ты сам много чему верил. И нас заставлял верить!

Крики и протесты Бордюкова были признаны приглашением снова промочить горло и продолжить действие, прерванное визитом дружбы в Эфиопию. Но Крейсер Грозный не мог успокоиться. «Ах, вы не верите! – заявлял он. – А из вас кто-нибудь пил с императором? Никто! А я пил! С императором! С Хайле Селассией! Это настоящий мужик! А этот, который его прогнал, ихний Мариман, Менгисту, дрянь! Я пил с императором!..» Потом Крейсер Грозный пытался поведать еще нечто. В частности, о том, что он родился в мешке с цементом и клинкером при Михайловском цементном заводе в Рязанской области. И о том, что уже в четыре года он был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из рогатки катышами клинкера, резина же шла на рогатки из противогазов... Но Крейсера Грозного теперь никто не слышал. Пили, галдели, Шеврикуке стало совсем худо, соображал он расплывчато и все же старался не пропустить ни слова про Оранжеерею. Однако ни про анаконду, ни про Ботанический сад с прудами и Оранжеереей более не вспоминали. Лишь звучало иногда: «А вы не пили с императором!» И Шеврикука, расслабившись вовсе, заснул.

А проснувшись, растерялся. Сидел он неподалеку от шашлычной под кустами бузины, вблизи нескольких пустых трехлитровых банок и граненых стаканов. Прежние собеседники Шеврикуки пропали, а справа от него полулежал теперь странный тип, дурно пахнувший. Впрочем, во рту Шеврикуки, внутри его всего было так противно, что обращать внимание на чужие дурные запахи или осуждать их было бы неразумно. Новый сосед Шеврикуки походил на карлика с Веласкесовых полотен, голову же его, здоровенную, подпирала шея будто бы раструбом боярского воротника. «Ну что? – спросил карлик. – Пойдем?» «Куда?» – удивился Шеврикука. «Как куда? – подмигнул ему карлик. – Куда вы предлагали». «А куда я предлагал?» – спросил Шеврикука. «Ну знаете! – теперь уже удивился карлик. – Как же так, Шеврикука!»

И Шеврикуку осенило: карлик – из духов Башни. Или хотя бы от них.

Они встали и пошли. Когда дух поднялся, Шеврикука увидел, что тот и не карлик. Уродец точно, но не карлик. Руки и ноги его были от коротышки, но лобастой головой своей он доходил Шеврикуке до плеча. И, возможно, по иным, нежели у Шеврикуки, эстетическим представлениям он и не считался уродцем.

– Пэрст, – сказал дух. – Меня зовут Пэрст. Вы, может, запомнили.

– Запомнил, – согласился Шеврикука. – И куда предлагал идти, запомнил. Зачем – тем более.

– А я помню, – сказал Пэрст. Возможно, он был просто Перст, но гласную в своем имени возводил достоинством выше, с очевидной претензией, будто намекал на нечто важное, о чем вынужден пока молчать.

Но был он жалок и чем-то удручен, порой его била дрожь, не заметить этого Шеврикука не мог.

– Я во сне, что ли, с тобой разговаривал? – спросил Шеврикука.

– Нет, – сказал Пэрст. – Мы сидели. И пили. С нами и еще были. Но их раздражал исходящий от меня запах. Они затыкали носы. Они ушли. Тогда вы и признались, что вы Шеврикука. Но, может, вы и не Шеврикука?

И Пэрст остановился. Соображение, пришедшее ему в голову, похоже, его напугало.

– Нет. Я именно Шеврикука.

– А я – Пэрст, вы поняли! – обрадовался Пэрст. – Я вам рассказывал!

И последовал повтор, надо понимать, истории Пэрстовых злополучий. Там, на Башне, ему было приказано засесть в капсулу и замереть в ней. Хоть бы и на три столетия. На

сколько – не его дело. Закладывали Оптический центр за гостиницей «Космос» и в обстановке пятифлажного митинга, естественно, с непременными взаимоуколами, замуровали в фундаменте капсулу с посланием к потомкам. Башня уже давно рассаживала в капсулы наиболее важных для города фундаментов своих агентов. Ну не агентов, а неизвестно кого. И неизвестно зачем. Возможно, конечно, с чрезвычайно секретной миссией, в которую мало кто был посвящен. А может, и на всякий случай. Вот и Пэрсту пришла пора засесть в капсулу. Радость грошовая, но приказали. А он кто? Он никто. К концу митинга он влез в капсулу. Капсула хорошая. Вроде футбольного кубка. Блестела. Из титанового сплава. Послание в пластиковой упаковке в ней уже лежало. Тут Пэрст услышал: главного оратора стали партийно подковыривать. Мол, что – послание. Можно было бы отправить потомкам и ценный подарок. Мол, когда закладывали цирковое училище на улице Расковой, клоун Карандаш бросил в капсулу тысячу рублей, земля ему пухом. Тот, кого подковыривали, рассмеялся. Что потомкам ваши рубли! Мол, мы способны уже катать людей бесплатно в такси, а в будущее отослать платину и бриллианты. Полез в карман и опустил в капсулу подарки. Что-то звякнуло. Вышло эффектно. Аплодировали. Тут капсулу прикрыли мраморной плитой с золотыми словами «Потомкам – в третье тысячелетие!». И к Пэрсту пришел покой. Но ненадолго. Часа через три двое мастеров, опускавших плиту, ее и подняли. Что-то они слушали на митинге, но невнимательно. Они развинтили капсулу, искали платину, бриллианты или на крайний случай тысячу рублей и, не найдя их, обозлились. А нашли они четыре пробки от пивных бутылок. В бессильном раздражении они справили на безвинных Пэрста, послание и пивные пробки малую и большую нужду, полили их еще чем-то вонючим и опять придавили мрамором. Капсула была опошлена, и Пэрст посчитал, что имеет право покинуть ее. «Э-э! – подумал Шеврикука. – Теперь тебя и не Пэрстом будут называть, а Капсулой. Если не объявят дезертиром». И Шеврикука вспомнил, что обещал провести Пэрста на фабрику химчистки за Ботаническим садом и окружной дорогой.

Но вместо химчистки они оказались в пивной на улице Фонвизина, где запахи Пэрста-Капсулы выделить из других ароматов кому-либо было недоступно. Шеврикука чувствовал, что его может занести, что сейчас он станет врать, хвастать и важничать. «Подумаешь, анаконды и титановые капсулы с посланиями! Да я эти анаконды! – принялся выступать Шеврикука. И очень громко. – Да я эти анаконды сшибал с деревьев из рогаток! Катываю клинкера! И я пил с императором! Хайле Селассией!» «Какие анаконды?» – не поняли Пэрст-Капсула и свежие фонвизинские собеседники. «А такие! – стукнул кружкой по столу Шеврикука. – Любых размеров и шкур! Резину на рогатки брал из аэростатов! Резал их на полосы садовыми ножницами! Или вот. Из Киева базарят с англичанами, будто те зажили бочку золота полковника Полуботка, из запорожской казны... Или вот эти чудики со станции Тайга ищут золотой запас Колчака! А я про такие клады знаю, что!.. Князей Черкасских, например. И ходить далеко не надо. В версте отсюда, в Останкинском парке...» Шеврикука даже и рукой указал, в каком направлении следует идти, чтобы обнаружить в парке клад князей Черкасских. Скептиков, впрочем, разевавших рты, Шеврикука попытался удивить рассказами о думном дьяке Шелкалове, владевшем Останкином после отмены опричнины, тот тоже много чего накопил и кое-где закопал. «Но не под кедром, – тут же расстроил слушателей Шеврикука. – Не под кедром. Кедр привез из Сибири уже именно один из князей Черкасских, не скажу какой, ни-ни, не скажу, а князя Черкасские пошли от кабардинского князя Темрюка, и золота имели – во!» Далее Шеврикука свернул к Мечу-Кладенцу, Чаше Грааля, а проявив себя драматическим тенором, пропел: «Отец мой Парсифаль, богом венчанный, я – Лоэнгрин...» Тут его опять сморило...

7

Шеврикука лежал в малахитовой вазе.

На полу, на ковре, в солнечных лучах грелась анаконда.

В дверь позвонили. «Экие глупые слова, – подумал Шеврикука. – Ведь не в дверь позвонили. В квартиру. В меня позвонили». За дверью просителем стоял Пэрст-Капсула. «Брысь!» – сказал Шеврикука анаконде, и она исчезла. А может, ее и не было.

Шеврикука открыл дверь и впустил Пэрста. Наверное, тот отмывал себя. И долго. Возможно, натирался благовониями. Но дурной запах совсем не истребил. Впрочем, Шеврикуке все было мерзко сейчас.

– Меня прислали к вам, – объявил Пэрст-Капсула.

Он снова дрожал. Был напуган. Не теми ли, кто прислал его?

– Ну и что? – грубо сказал Шеврикука.

– Меня прислали к вам... И просили вас прибыть для беседы...

– Прямо сейчас?

– Желательно вовремя.

– Еще чего! – И Шеврикука зевнул, давая понять, что лучше бы его оставили в покое, к чему он более теперь расположен.

– Я вас провожу...

– А ждать мне не придется? – спросил Шеврикука с вызовом. И сейчас же осадил себя: опять он хорохорится! Ведь был случай... Впрочем, перед Пэрстом можно было позволить себе и покуражиться!

Но в баню бы теперь! И веник в руки!

– Ладно, – сказал Шеврикука. – Сейчас и отправимся.

«Явилось бы мне мое Монрепо, – подумал Шеврикука, – где никто бы не мог нарушить мое уединение и покой...» Главное – Монрепо! Да, были и Монрепо, и Монплезиры, но у кого? К тому же он, Шеврикука, всегда с большим интересом относился к затее светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова устроить Монкураж. И сам кое-что придумал и осуществил. Но где, как и когда!..

«Однако теперь-то что было мечтать о венике и парной! О, Монрепо! Ловок, брат! Сейчас тебя возьмут, подхватят служители с целлулоидно-кукольными голосами, повлекут, со щипками, оплеухами, с ударами ног из канфу, со швырянием о бетонные стены, в поднебесье, а потом и в седьмые небеса Останкинской башни. Предоставят для беседы. Можно предположить, как и чем она закончится.

– И велели передать, – сказал Пэрст-Капсула, – что вы вольны принять приглашение на беседу, а вольны и не принимать его.

– Естественно, волен! – сказал Шеврикука. – Конечно, волен! Но принимаю. В здравом уме. И с превеликим удовольствием. Вот только повяжу бант на груди.

– Какой бант? – спросил Пэрст-Капсула.

– Из черного бархата.

Какой бант?! Из какого черного бархата? Он ошалел, что ли? Что он мелет? «Что мелю, то и мелю!» – сказал себе Шеврикука. Были у него бархатные ленты в укрытии, были желтая, фиолетовая и черная, и Шеврикука понял, что именно теперь бант он непременно повяжет, пусть его и выставят посмешищем, пусть унизят или даже удавят, стянув бархат на шее. Отправив посланника духов во двор, Шеврикука пробрался к тайнику и уважил свою блажь.

– Идем к Башне? – спросил Шеврикука во дворе.

– Идти никуда не надо, – сказал Пэрст-Капсула. – Вы просто закройте глаза. И все. А я ни вам, ни им больше не нужен.

Шеврикука закрыл глаза.

– Поднимите веки, – услышал он. – И присаживайтесь.

Шеврикука стоял возле кресла. В мягкую глубину его он и погрузился. Пребывал он в некоем помещении-ящике, по размерам схожем с вагончиком строителей. Напротив него, в кресле же, сидел крупный мужчина или, скажем, существо, принявшее облик крупного мужчины. И вылитый Бордюков. Нет, разглядел Шеврикука, не Бордюков. Пожалуй, весомее Бордюкова. И более ястреб. Но из породы Бордюковых. Никого и ничего более вокруг себя Шеврикука не наблюдал. Чистейшие бледно-фиолетовые стены вагончика были прорезаны четырьмя квадратными окнами, виды в них все время менялись, и вскоре Шеврикука сообразил, что их вагончик летает вблизи Башни, над Останкином и парком, причем шальным образом, кувыркается, крутится, ныряет вниз и возвращается в выси, покачиваясь, выделяет и иные кренделя городского пилотажа, возможно, бочки и иммельманы, не причиняя при этом Шеврикуке никаких неудовольствий и неудобств.

– Вас не трясет? И не болтает? – осведомился тем не менее хозяин летающего помещения. Или не хозяин.

– Нет, – сказал Шеврикука. – Не трясет. И не болтает.

– Ну и хорошо, – кивнул собеседник. – Но можно закрыть оконца шторами, чтобы нас не отвлекало движение. А?

– Меня оно не отвлекает, – сказал Шеврикука.

– Вы в напряжении. Будто я намерен вас потрошить или подвешивать на крюк. А зря. Наше общение ни к чему не должно обязывать. Ни меня, ни вас. Из него может выйти толк, а может и не выйти. И мы разлетимся. Да, я не Бордюков. И не его брат. И не параллельная структура. В своих сущностных буднях выгляжу иначе. Или никак не выгляжу. Но ради контакта, ради соответствия вашим привычкам меня обрядили в подобие Бордюкова. Имея при этом в виду, что ваши мысли могут или даже должны получить некое направление. Я с этим мнением спорил, но уж ладно...

– Какое направление мыслей? – спросил Шеврикука. – Я у вас сегодня в общем отделе? В кадрах, что ли?

– Вот-вот, я этого и опасался, – сказал собеседник. – Вашим мыслям дали коридор, и суть нашего общения чрезвычайно сужается. Вдобавок происходит несомненное приспособление и вас, и нас к людским стереотипам. А ведь мы и вы – не люди.

– Да, мы – не люди, – сказал Шеврикука, но сказал так, будто давал понять, что домовые точно не люди, а вот что за компания приманила его в выделяющий воздушные кренделя вагончик, с уверенностью судить он бы не стал.

– И мы не люди, – услышал Шеврикука. – И не пришельцы. Мы именно отродья, какие завелись на Башне. По вашей останкинской терминологии. Отродья! Башенная шваль! В лучшем случае – духи-самозванцы! – И новый знакомец Шеврикуки рассмеялся. Однако сразу же сказал строго: – Но вы нас боитесь. И не напрасно. При этом вы нас не понимаете, а скорее всего, и не способны понять. Из-за вашего консервативного высокомерия. К тому же уровень... как бы помягче сказать... ваших представлений и знаний таков, что вы и не можете... Извините, вы гадаете, как меня называть. Естественно, не Риббентропом. Извините за прошлые тычки и щипки, но вы сами, как мне сообщили, дали повод для них. Имя – или название, или прозвище – вы мне можете придумать сейчас сами. Подлинное я не имею возможности произнести. Вы его и не запомните.

– Бордюор, – сказал Шеврикука. – Вы не Бордюков, но Бордюор.

– Странно. Странно как-то... Бордюор тонок и длинен, а я вон какой обширный и свирепый. И Бордюор, он вроде бы внизу и что-то ограничивает? Или ограждает? Ну ладно... И примите к сведению. Я личность в вашей истории случайная. Попался под руку. Просто я из тех, кто может надевать человечью личину. Пусть это и противно моей натуре. Многие

же пока не могут. Иные и вовсе не имеют форм и иметь их не должны. А они-то как раз специалисты. Но, может быть, вы опять потребуете иного собеседника?

– Нет, – сказал Шеврикука. – Да и мне ли требовать?

– Хорошо, – сказал Бордюр. – Мы сошлись с вами в том, что мы и вы, к счастью или не к счастью, – не люди. Для людей мы за пределами их жизни. Вас они и просто называют нежитями.

– Нежити – это тубинги в туннелях метрополитена, – резко сказал Шеврикука. – Но и тубинги бетонными ребрами ощущают проходящие мимо них поезда.

– Согласен, Шеврикука, согласен! – Бордюр в воодушевлении рукой по руке хлопнул. – Но люди, для которых вы все же есть, все равно считают вас чем-то восемнадцатистепенным.

Тут Бордюр умолк, похоже, посчитал необходимым успокоиться.

– А отчего вы, – спросил он, – решили повязать именно черный бант? Вы могли повязать желтый. Или фиолетовый. А повязали черный. Почему?

– Не знаю, – сказал Шеврикука. – По дурости.

– И ведь люди, – Бордюр вскинул сцепленные пальцами руки над головой, а потом обрушил их вниз и пальцы выпрямил, возможно указуя на презренную останкинскую землю, – не стоят того, чтобы мы были у них в восемнадцатистепенных! Даже – в третьестепенных! Не стоят! Быть у жалких, озлобленных существ в услужении мы не намерены! Нет!.. Черный бархатный бант вы, значит, повязали по дурости?

Шеврикука угрюмо кивнул.

– Дурость нынче свойство редкое, – заметил Бордюр. – Все вокруг исключительно умные. А выходит, впрочем, всякая дрянь... И небось по дурости вы познакомились с нашей неряшливой мелочью. С Пэрстом этим. А? По дурости? – Бордюр хохотнул, в смехе его было одобрение – мол, так и надо, старик, все путем! – и даже как бы обещание покровительства: со мной, мол, купишь и сырокопченный окорок, и электрический уют. – Но я бы посоветовал не иметь более с этим недотепой-полуфабрикатом дел. Дел с ним, видимо, и не случится. Он будет исторгнут или разъят за ненадобность. У него нарушение схемы. Имя его забудьте. Его спишут. Разымут или рассеют. И он не станет ни призраком, ни привидением.

Шеврикука взглянул в глаза Бордюру. В них была стужа.

– Да, у нас нет привидений, – сказал Бордюр, в интонации его Шеврикука ощутил сожаление. Или даже печаль. – У нас нет прошлого. У нас нет родословных. А какие могут быть привидения без прошлого. Иные видят в этом благо. Мол, от нас все пишется даже и не заново, а впервые. И набело. С нас начинается все. В-с-е! Прочее следует отмести и забыть. У нас нет прошлого и нет поводов для ностальгии. Для нытья. Нет груза чужих, но врученных наследием поражений, ошибок, пороков, нет слабых токов, нет связей, способных вызвать опасные и даже болезненные состояния логических систем. Все так. Все так. А вот я хотел бы, чтобы у нас были прошлое, родословные и привидения. Такой каприз. Однако накопления возникают с ходом времени. Скажите, отважный Шеврикука, у вас есть накопления?

– У меня нет накоплений, – сказал Шеврикука. – И я не давал повода называть меня отважным.

– Не давали? Тогда примите мои извинения. И у меня нет накоплений. А жаль. Вот у князей Черкасских, вы говорили, были накопления. И они схоронены где-то здесь, под нами. Под деревьями в Шереметевской дубраве. Или черниговский полковник Полуботок. В лондонских подвалах, вы полагаете, его бочка? Бессовестные британцы! А золотой запас сибирского адмирала. Где, где он? Но оставим князей Черкасских, сечевика Полуботка, несчастного адмирала. Что нам они? Так вот. Вы не накопили. Я не накопил. Мы и не копили. Но ваше, как у вас любят подчеркивать, сословие. Оно ведь существует не год, и не век, и не тысячелетие. Конечно, иные за века ничего не приобретают и не накапливают, а лишь транжирят. Пускают по ветру собранное другими, а им завещанное. Приданое-то – тем паче. Но

ваше-то сословие не таково. Вы же существа хозяйственные. В картишки – ни-ни! Все – в дом, все – в избу. Иначе какие же вы домовые? Уж у вас-то точно есть накопления. На черный день! Сокровища, полагаю, поинтереснее клада князей Черкасских. А?

– Не знаю, – сказал Шеврикука. – Не уверен. Не слыхал. Не удостоен знанием. Ни грош, ни сухарь из этого клада или склада мне не обещаны.

– В том вековом или бесконечном накоплении, о котором я веду речь, нет ни копеек, ни золотых монет, ни тем более сухарей. Там есть нечто, чему ни вы, ни люди, ни даже мы не способны дать истинное название. Сила Кощеева царства уместалась в игле. Даже в иголке, коли принять во внимание утиное яйцо. Да-с. У кого Игла. У кого Чаша Грааля. У кого Меч-Кладенец. А у вас что же могло быть такое замечательное?

– Половник для щей, – сказал Шеврикука. – Или большая ложка. Деревянная. Ею неразумного дитятю отец мог за столом назидать по лбу. Со звуком.

– Ну, Шеврикука... – поморщился Бордюк. – Эко вы... Здесь должно быть нечто торжественное, ритуальное, ценимое родом. То бишь сословием... Но давайте продолжим наш ряд... Приходит на ум опять же чаша... Или ендова какая-нибудь особенная... Или бра-тина... Или даже самовар... Да... Мечей-то, конечно, у домовых не водилось. Но ведь чем-то вы, случалось, оборонялись?

– Случалось, – подтвердил Шеврикука. – Кочергой. Или скалкой. Или даже стиральной доской. Случалось, ходили и в бои. С печными ухватами. С головнями незатушенными. А то и с вилами.

– Ну да... Ну да... – вздохнул Бордюк. – Конечно...

В глазах его проявились усталость и досада, нестерпимое желание прекратить пустой разговор.

– А то и швырялись горшками. Чугунными, – вспомнил Шеврикука.

– Конечно, конечно, и горшками, – закивал Бордюк. Он опять вздохнул. – Да, эпос о домовых создать было бы чрезвычайно трудно. Ни гекзаметром, ни тонически-аллитерационным стихом, ни силлабо-тоническим. Если только раешником. Но вы и в раешники, как помнится, не попадали. Так, в устные побасенки... Н-да... И тем не менее... И тем не менее. Наши возможности – зовите нас отродьями, духами Башни, обдухами или духообами, нам не обидно, – во сто крат, да в какие там сто! – богаче возможностей ваших. И тем не менее... Вы – подвалы человека. Ну и запечье. Запечье и подполье. Вас вызывали его страхи, его заблуждения, его наивности и детские упования. А мы – подпотолочье человека. Или даже – надпотолочье. Мы над ним. Мы созданы его дерзостью, его наглостью, его куражом, его шальными забавами, его голодно-высокомерным порывом обломать рога природе. И мы уже над ним. Мы отбились от его рук. И не намерены ему служить. И тем не менее. У нас нет того, доли чего есть у вас.

– Есть прямо здесь, в Останкине? – спросил Шеврикука.

– Да. Может, именно и в Останкине.

– Сомневаюсь, – покачал головой Шеврикука.

– Я, похоже, утомил вас, – сказал Бордюк. – А вы небось собирались в Дом Привидений?

– Нет, – сказал Шеврикука, – сегодня не собирался.

– А как же бант?

– Бант – ради вас.

– Ну-ну... А Темный Угол? Он не поругивает вас за приключения, за походы к привидениям, за всякие шалости? Не грозит вам карами?

– Их ругань и кары меня не заботят, – сказал Шеврикука.

– Ой ли? Они так беспомощны? У них нет силы?

– У них есть сила. Но меня она не связывает.

– Может быть, пока? Они существа сердитые. Блюстителю. Сами вызвались оберегать чистоту преданий и следований им. Им, кстати, Кощей мог бы доверить и оборону яйца с иглой? А? Не так?

– Не знаю. Это меня не волнует, – сказал Шеврикука. – И сведений о них, коли они вам нужны, я добыть бы не смог. У меня иные свойства.

– Не дуйтесь, Шеврикука, не дуйтесь! – заулыбался Бордюор. – Сейчас мы с вами закончим. И разойдемся кто куда. Но прежде я обязан передать вам слова тех, кто и попросил иметь с вами беседу. Намерения ваши, известные в их внешних проявлениях, приняты к сведению. И решено: не перечеркнуть и не размыть. Вас. Пока. И не сказано вам: изыдь и отведи от нас взор. А сказано: ступай и живи, как прежде. И жди. Вдруг что и случится. И призовут. Или посоветуют. А там поглядят.

– Назначат приглядный срок? – спросил Шеврикука.

– Это не ко мне, – сказал Бордюор. – Скажу лишь: вы рискуете и чрезвычайно. Надеюсь, понимаете... Да, к вам приглядятся. И вы приглядитесь. Хотя вам будет труднее. Вы не на равных. Еще и потому, что вы линейны. А мы нелинейны.

– Не в Останкине судить, – сказал Шеврикука, – кто линеен, а кто нелинеен. И что проку, что кто-то линеен, а кто-то нелинеен. И потом – все это слова и обозначения. А близки ли они к истине? Вряд ли.

– Вот как? – Бордюор, показалось Шеврикуке, впервые всерьез посмотрел ему в глаза. И долго смотрел. Будто изучал глазное дно.

– Я не собирался более жить среди домовых в Останкине, – сказал Шеврикука. – Причина менее всего в том, что я обидчивый и не люблю оскорбления. Мне надоело. Я понимаю, что для вас я трава сорная, к тому же и перебежчик или способный переметнуться. Я никогда не буду с вами на равных, но я готов к своему положению. Вам же авось на что-нибудь сгожусь. Но если я не нужен, объявите. Я иначе буду жить.

– Вы нетерпеливый, – заговорил Бордюор. – Вы нетерпеливый! Это нам известно. А у нас не сразу дают подписывать бумаги, за нарушение правил которых полагается взыскивать кровью.

– Я, может быть, и не намерен подписывать какие-либо ваши бумаги, – сказал Шеврикука. – Вы подумайте о своей пользе.

– Вы самонадеянный. Если не наглый. Или неумный, – сказал Бордюор. – «Бумаги», «кровь», «подписывать» – это все из условностей. По нашим положениям, для нас разумным, а для вас, возможно, ледяным и безжалостным, вы уже без всяких подписей и бумаг вступили в поле внимания Танталова луча. Одно мгновение – и... То есть и одного мгновения не надо.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Я буду жить в Землескребе. И буду ждать.

– Ждите. И еще я уполномочен произнести некоторые слова. Кандидат наук Мельников проживает в ваших подъездах? Человек он примечательный. И лаборатория у него примечательная. В квартире его вы могли бы бывать почаще. Может, и повстречались бы раньше с дамой Совокупеевой. А? Не так? – И тут Бордюор подмигнул Шеврикуке снова с одобрением: мол, и я такой же ухарь-купец, и я не прочь, коли подвернется случай. – И некий Радлугин ваш жилец? Вот и еще один объект, достойный вашего обозрения. И инженер Подмолотов, он же Крейсер Грозный, ваш. Видите, какой многоцветный букет для вас нарвали. Или какую преподнесли вам корзину с фруктами. Да. Именно. С фруктами. Ведь и чиновник Фруктов жил у вас. Добавьте в ту же корзину еще и Дударева, соребнователя Свержова и их коллегу Бордюкова, хотя эти трое и проживают в чужих подъездах. Н-да. А коли Крейсер Грозный ваш, то, стало быть, и Анаконда ваша. А что это у вас, сударь Шеврикука, бант вдруг развязался? – В голосе Бордюора было не только изумление, но и сочувствие Шеврикуке.

– Как?.. То есть?.. – растерялся Шеврикука. – Действительно...

– Взял вдруг и развязался. – Теперь Бордюр, похоже, радовался. – От волнения, что ли? Или по другой причине?

– Извините, я сейчас завяжу...

– Не надо! Не надо! Ни в коем случае! – вскричал Бордюр будто в испуге. – И так замечательно! Завяжете не здесь, а дома! Дома! Домой и отправляйтесь!

– Но ведь мы высоко... – сказал Шеврикука.

– Да, высоко! Да, кувыркаемся! – все еще кричал Бордюр. – Что из этого? Вы сейчас закроете глаза и отправитесь.

– Покедова, – сказал Шеврикука.

– Погодите! Пойдите! Покедова оставьте при себе. Мы с вами более не столкнемся.

– Не уверен.

– Не перебивайте меня! Знак отсюда или сигнал получите способом особенным. Этот вонючий полуфабрикат к вам более не явится. Живите внимательно и помните, что здесь влажных чувств не держат. Теперь закрывайте глаза! Но не спеша!

Спешил бы или не спешил Шеврикука, но много ли надо времени, чтобы опустить веки? Крохи его. И вот в эти крохи Шеврикука все же смог углядеть, что с собеседником его случилось приключение. Он и секундами раньше, показалось Шеврикуке, будто стал терять в весе и в ширине плеч, да и лицо его принялось утончаться. А в миг прощания (коли «покедова» было отклонено с укоризной) существо, беседовавшее с Шеврикукой, превратилось в нечто узкое и протяженное, то ли в полосу серую с чередой бегущих темно-синих треугольников (начальственно-серым был костюм Бордюра, а синим – галстук), то ли в плотно-жесткий опояс, должный все ограничивать, держать в сбережении, чтобы не расползлось, не потеряло линию, форму или даже красоту. И тут ресницы Шеврикуки сомкнулись.

8

Расклеить их удалось не сразу. Не дождавшись приглашения «Открывайте!», Шеврикука сам дал команду глазам. А их будто заклеили пластырем. И точно, пластырь на глазах был. Шеврикуке с болью и ворчанием пришлось его отдирать.

Стоял он в квартире пенсионеров Уткиных, в Землескребе. Черная бархатная лента, переставшая быть бантом, свисала с плеча. Шеврикука выругался, стянул, сорвал с себя бархат, чуть ли не с брезгливостью, будто на него залез змей, объявившийся уже в Останкине, швырнул его на диван.

И сам сел на диван.

«Надо успокоиться, а что же за тварь ты такая, эго трясешься, – отчитывал себя Шеврикука. – Ведь живой! Ведь живым оставлен! Живым!»

И успокоился.

«Значит, они мне, – думал далее Шеврикука, – решили установить направление мыслей и действий... Ну что ж, может, оно и к лучшему... Конечно, направление это выгодно им, оно – для их целей, догадок, шарад и корысти. Но ведь и у меня не выжжено соображение. Не выжжено совсем-то... Они и это имели в виду, и понятно, в их сетях – ячейки на всякие случаи. И тут, впрочем, новостей нет. А коли не раздавят, опять будем живы. Глядишь, и отворят калитку. Ну а дальше? Нужна ли тебе отворенная калитка? Ведь снова бежишь к ней именно по дурости, именно по безрассудству!»

Всем изгибам нынешнего собеседования Шеврикука мог найти толкование. И выбор вагончика с кувырканиями и полетами его не удивил. Хотя, возможно, никаких полетов и кувырканий вовсе не было, кого-кого, а специалистов по изобразительному ряду и эффектам на Башне хватало! Ну и их это дело! А вот отчего так взволновал духобашенного Бордюра черный бархатный бант, Шеврикука истолковать не мог.

А бант Бордюра не то чтобы взволновал. Похоже, расстроил. Или даже напугал. Говорить-то Бордюр говорил, и все, видно, по делу, ничего не упускал, но бант его явно смущал. Либо раздражал. Бордюр будто силу какую-то желал применить к банту, Шеврикука это порой чувствовал. А когда усилие было приложено, бант развязался, Бордюр чуть ли не возликовал. Но и утомился. Крики его нервные в конце разговора, скорее всего, были вызваны расходом сил, вряд ли предвиденным.

Впрочем, возможно, Шеврикука все это вообразил. Ну язвил Бордюр про бант, ну развязалась лента, возможно, оттого, что он, Шеврикука, вертел в волнении шеей. Но зачем он надел этот идиотский бант? И еще именно черный, а не фиолетовый или желтый? С перепоя? Или в самом деле по дурости? Или по некой невысказанной подсказке? Бесспорных объяснений дать себе Шеврикука так и не смог. Как не смог и даже выстроить варианты предположений, отчего обеспокоился Бордюр. Про себя же, поразмыслив, постановил: да, с перепоя и по дурости.

Глаза у Бордюра были синие, вспомнилось Шеврикуке. Ну и что? К непременно серому костюму московского чиновника, или дельца, или трибуна средней ценности синие глаза весьма подходили. И галстук ему повязали темно-синий. Знали, какой образ лепили и зачем. Нет, осадил себя Шеврикука, не то, не то. Тут иное... А! Вот что! У того-то, к кому приволокли Шеврикуку пушистые щекотихи с целлулоидно-кукольными голосами, у того-то однажды за пластинами гармони проступила синева глаз! Опять же ерунда! Мало ли что и с какой целью предъявляют или приоткрывают ему, Шеврикуке! Да пусть тот собеседник и Бордюр – одно лицо, или одно существо, или одна субстанция («А что это – субстанция?» – задумался Шеврикука), или одна идея. Пусть! Какое это имеет значение!? И пусть недотепа курьер (или не курьер) Пэрст-Капсула – тоже Бордюр! Какое это имеет значение!

«Никакого, – вздохнул Шеврикука. – Почти никакого... – Потом подумал: – И сидят они теперь над детекторами лжи, разбираются в крючках...» Сразу же поехидничал над самим собой: «Голова садовая! Детекторы лжи для них – четырнадцатый век!»

Кстати, он им почти и не лгал.

А бархатную ленту следовало сейчас же растоптать, сжечь, разжевать и выплюнуть! Ну не сжечь и не растоптать, а удалить с глаз долой. И навсегда. Что Шеврикука безотлагательно и сделал. Упрятал кусок бархата в укромное место, откуда брал. Не в его привычках было выбрасывать тряпки, пусть ему и противные.

Однако мы, видно, и впрямь летали и кувыркались, вынужден был признать Шеврикука, голову-то вон как крутит, этак вывернет. Сказывалось, понятно, и вчерашнее нарушение режима, но и условия беседы с Бордюром пока напоминали о себе. Шеврикука отправился во двор, сел на скамейку, думать более ни о чем не желая.

А на дворе была ночь, черно-синяя, душная, тихая. Никто в домах не голосил, не выпускал в пространство с цепей звуковых дорожек горластых мужиков и дев, не звякал в кустарниках насаждений стеклянной посудой, не щипал барышень, не материл президентов. Это была ночь одиночества. И Шеврикука опять ощутил, что он в мире один.

– Шеврикука... – донеслось из-за мусорного ящика.

Шеврикука повернул голову вправо, но ни звука не издал.

– Шеврикука... – Голос (почти шепот) был робкий, будто отстеганный кнутом, но слова произносились внятно. – Шеврикука, позвольте к вам приблизиться.... Я подползу... На мгновение...

Шеврикука молчал. Запрета не последовало. И нечто подползло.

– Это я... Пэрст...

«Брысь! Пшел отсюда!» – следовало бы цыкнуть. Но Шеврикука не цыкнул.

– Вы были сегодня у квинта и вернулись... – зашептал Пэрст-Капсула. – Я не думал, что вы вернетесь. А вы вернулись... А я... А со мной...

– У кого я был? – не выдержал Шеврикука. И тем самым вступил в разговор, участвовать в котором не должен был себе позволить.

– У квинта... У одного из квинтов... У одного из квинтэссенсов...

– Встань. Раз уж... Что ты валяешься-то. Садись.

Пэрст-Капсула привстал и бочком уселся неподалеку. Шеврикука не хотел, но зажал ноздри и чуть было не отъехал к краю скамейки. Однако пахло от Капсулы редким и драгоценным нынче, как белужий бок, куаферским одеколоном «Полет».

– Да, – подтвердил Пэрст-Капсула. – Отскребся. В химических чистках и татарских парных. Теперь не стыдно... Перед концом. Словно в белой рубахе...

– Ну! Ну! Мужик! Брось! – стараясь быть грубоватым, решил подбодрить Капсулу Шеврикука. – Не раскисай. Никому не дано знать... А что отскребся, похвально. И вот одеколон добыл.

– Хотите, и вам открою, как добыть.

– Нет, нет! – заторопился Шеврикука. – Я не к тому.

– А знать мне дано, – с печалью сказал Пэрст-Капсула. – Дано. Последняя ночь. А я не хочу. На мне нет вины. И мне горько.

– Я не судья, – глухо произнес Шеврикука.

– Да. Это так. Но вы вернулись. И вы останетесь.

– Надолго ли?

– Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не должно пропасть. И я принес вам...

– Чего еще? – насторожился Шеврикука.

Пэрст-Капсула протянул к нему руку, разжал пальцы. На ладони его что-то лежало. Одно, рассмотрел Шеврикука, – круглое, другое – продолговатое, чуть закрученное по краям.

– Я не возьму, – сказал Шеврикука.

Теперь он впрямь отодвинулся от духа.

– Но ведь пропадет...

– Мне велели это передать? – спросил Шеврикука.

– Нет. Никто не велел. Это я. Это мое.

– Не возьму! – сказал Шеврикука нервно. – Ни за что! Мне не надо!

– Но ведь пропадет! – взмолился Пэрст-Капсула. – Или учуют, захватят и наделают плохих дел. И не расхлебашь!

Шеврикука и во тьме, в черной черноте черной комнаты все мог увидеть, теперь же он хотел узнать, синие ли у Капсулы глаза, но тот наклонил голову, в прощальный раз рассматривая свои ценности. Как будто бы не синие, как будто бы темнее... Но что из того! Что из того!

– Откуда происходят?

– Это мое.

– Ворованное? – сурово спросил Шеврикука.

– Нет! Это мое! – обиделся Пэрст-Капсула. – Откуда, не могу сообщить.

И Шеврикука взял.

Не мог брать. Не должен был брать. Но взял. Предметы были тяжелые. Металлические. Весомее золота. Руку Шеврикуки потянуло вниз.

– Ну и что? – сказал Шеврикука. – Вроде монета. Морда на ней чья-то с коротким волосом. На обороте – лист растения. Или, может, не монета, а жетон. Бывало, сунешь такой куда-нибудь в отверстие, а тебе нальют пива. Или керосина. Не фальшивая? На зуб пробовал?

– Не фальшивая.

– А это что-то продолговатое, крученное по краям. Смахивает на лошадиную голову.

– Да, – кивнул Пэрст-Капсула. – Похоже на лошадиную голову.

– Ну и что? Для чего это? И что с ним делать?

– Не знаю. Осмелюсь предположить – для чего-то важного. Возьмите. И оберегайте.

– Нет! Ни за что! Сейчас же забирай! Или выкину!

Однако рука Шеврикуки никуда не двинулась, а пальцы его сжались.

– Прощайте, – сказал Пэрст-Капсула. – Я ухожу.

Тут Шеврикука выказал слабость, привстал и в сентиментальном порыве попытался горемыку обнять напоследок. И сам он не ожидал от себя проявления чувств к существу, вовсе ему не близкому, а возможно, и поддельному. И Пэрста-Капсулу его движение скорее напугало – не ценности ли ему хотели возвратить, тот отшатнулся от Шеврикуки, прошептал: «Прощайте» – и исчез.

Выпрямить пальцы, отодрать их друг от друга, выволить их из несвободы жадности Шеврикука не мог. «Экие они дошлые! – в досаде размышлял Шеврикука. – Увидели, наверное, как я упрятывал обруганный мною же бант. Или без того вызнали, что я и впрямь лучше давиться пойду, нежели выкину объединенную молью тряпку или ботинок, стоптанный да с дырами. Опыт, что ли, они намерены какой произвести надо мной? Над линейным-то?.. Кортес и Монтесума...» (Тут я, рассказчик истории домового Шеврикуки, смущен и пребываю в недоумении. Сам ли Шеврикука вспомнил о Кортесе и Монтесуме? Знал ли он о них вообще? Или это я, рассказчик, бесцеремонно ворвался в соображения Шеврикуки?..)

А пальцы Шеврикуки разжались.

9

Монету (или жетон) и лошадиную голову, за ночь не исчезнувшие, следовало незамедлительно укрыть. Но у кого и где? Сдать в ломбард? Смешно. А держать приобретения вблизи себя Шеврикука не видел резона. Чур их! Подальше их! Не его они, не его! А кого – он не знает! Два адреса среди прочих Шеврикука все же выделил. Но после размышлений дом мухомора с бородкой, ныне выдвиженца, Петра Арсеньевича, Шеврикука отклонил. Прежде он наследство бедолаги Пэрста-Капсулы (поутру Шеврикука как бы согласился с тем, что Пэрст – бедолага, жил отдельно, сам по себе) спрятал бы в доме Петра Арсеньевича. Но теперь гордыня остановила его.

Оставалось проникнуть в Дом Привидений и Призраков.

Чтобы там не раскудахтались, не загремела посуда и не распустились возбужденные интересом уши, Шеврикуке пришлось выжидать удобные минуты. До полудня. После ночных трудов обитатели дома имели право вздремнуть – кто с храпом, а кто со свистом, и право это Шеврикука уважал.

Зимой привидения и призраки квартировали в Ботаническом саду, в Оранжерее, а в летние месяцы перебирались в Останкинский парк, под крышу лыжной станции или лыжной базы, что к западу от Потехинской церкви.

Лыжная база в Останкине, как вы знаете, на вид простой сарай, и не более того. Не дровяной, естественно, сарай, а протяженное сооружение, с украшениями из досок по фасаду, в начале века в нем могли бы содержать летательные аппараты Уточкина и Заикина. Но все равно сарай. Зимой там было шумно, пахло лыжной мазью и гуталином для тупоносых ботинок, но непременно и снегом, и ветром, наигравшимся в белых следах, и замерзшими лапами елок, а ближе к весне – и талой водой, и щеки милых лыжниц там розовели, и смех их звучал, и шел пар от титана с кипятком и серебристого бака с цикориевым кофе. Я более уважал снежные дороги в Сокольниках, но нередко бывал на лыжной станции и у себя, в Останкине.

А в апреле ее запирали на замок, и она впадала в летние сны. Это для людей. А привидения, призраки и иные личности, о которых здесь не время говорить, но, может, и придется, из Оранжереи, не скажу, что все с удовольствием, перебирались на лыжную базу. В свои Апартаменты. Работники, забредавшие летом в прохладные недра сарая, чтобы убедиться, все ли в порядке, ничего, кроме стеллажей со спортивным инвентарем и обувью, столбов со скамейками, не наблюдали. Все было в порядке, и, конечно, стоял в помещении неисчерпаемый и вкусно-черный запах лыжной мази. Лишь одной из уборщиц каждое лето мерещились в неосвещенных углах мерцания шелковых платий и слышались дальние дивные голоса. Один из них как-то явственно пропел: «Было двенадцать разбойников и Кудеяр атаман». И смолк. Уборщица, докладывая о видениях, ни на чем никогда не настаивала, не просила о прибавке к зарплате, а только мечтательно улыбалась. Начальники ее ворчали, находя объяснения ее видениям в том, что вблизи лыж и ботинок завелась моль и порхает, или грызуны, или даже летучие мыши и надо принимать меры. Однако сезон следовал за сезоном, а дивные звуки слышались, и шелк шуршал и мерцал.

Шеврикука, если бы знал об этом, рассудил бы: раззявы и дуры ведут себя неопрятно, залезая в чужое пространство. Не мечтательную уборщицу имел бы он в виду, та лишь обладала тонкой восприимчивой натурой.

Теперь же Шеврикука путаными петлями шел к лыжной базе. Хвоста не вел. И никакая подозрительная трясогузка, или бабочка, или радиоуправляемая модель его не сопровождали. С северного бока сарая Шеврикукой третий год как была освобождена от гвоздей доска, в потайную щель, используемую им чрезвычайно редко, Шеврикука и прошмыгнул.

Ни единого звука он не издавал, не хотел, чтобы сегодня Горя Бойс знал о его посещении Дома, но уже в темени сырых пазов услышал:

– А-а! Да ведь это Шеврикука! А ну-ка пожалуй сюда!

– Да не ори ты! – рассердился Шеврикука. – Сейчас и подойду. Хоть и видеть твою рожу мне ни к чему. И не ори!

– Не будь пролазой! От дяди Гори Бойса все равно не уйдешь.

Из черноты надвинулся на Шеврикуку боевой стол на двух тумбочках и в шаге от Шеврикуки надменно замер. За столом, под канцелярской лампой, сидел взаимоуважающий наблюдатель Бойс, тощий, но притом пухлощекий, в валенках, в ватных штанах, пребывающих на теле Бойса в режиме подтяжек.

– Кто пролаза? Чего ты сам-то стену таранишь! Сиди и сиди у своих врат!

– Отчего здесь в неотведенный час?

– Я больной. Болею болезнью, – сказал Шеврикука. – На больничном.

– Предъявляй лист.

Шеврикука протянул бумагу из калекопункта.

Наблюдатель Бойс снял очки. Смастерил он их из фанеры и казнил ими мух. Явилась муха, он ее прибил. Прилетела вторая, эту Бойс почесал и шлепком направил жить дальше.

– А если заразишь постоялицу травмой? – сказал Бойс. – Или огорчишь ее увечьем?

– Не твоего ума дело! – сказал Шеврикука. – Отъезжай на самокате к проходной. Соблюдай свой чин и свои пределы. Или я напомню о них. Ты, Горя, меня знаешь!

– Зачем ты шумишь? – забеспокоился Бойс. – Что ты шумишь?

– А кто тут шумит? А кто? – выскользнула из стены взаимоуважающая следитель бабка Староханова. Она же Лыжная Мазь. Или – Смазь.

– Никто не шумит, – хмуро сказал наблюдатель Бойс. – Наш гость направляется в Апартамент триста двадцать четвертый. Есть кто в Апартаментах?

– Есть, есть кто в Апартаментах! – запрыгала на одной ноге, гоня перед собой корабельный секстант, следитель Староханова. – Есть, есть кто в Апартаментах! Но он возьмет и гостя не примет!

– Этого не знает никто. Бери. – Бойс протянул Шеврикуке сушеную воронью лапу, на алюминиевом ромбе, привязанном к ней, было выцарапано гвоздем: «324». – Ступай, Шеврикука. Веди прохладную беседу. Не озорничай. Не шали. Горя бойся!

Боевой стол взаимоуважающего наблюдателя, позванивая шпорами тумбочек, унесся к проходной. Исчез. Следитель Староханова вынула из холщовой сумы жестянку и пальцем стала втирать в ноздри лыжную мазь.

– От насморка, сладкий! От чиха гнилого! – заулыбалась она Шеврикуке. – Лапландская, номер осьмой, для жесткой лыжни. Со стеарином. Одновременно способствует и страстям. Ежели, конечно, натереть мускатного ореха и три щепоти...

– Что ты за мной поперлась, старая карга! – сказал Шеврикука. – Или я не знаю дороги?

– Ох, ох! Удалой Шеврикука! Погубитель сердец! Если бы скосить мои годы! – Староханова руки в боки уперла и укоризненно покачала головой. – По должности поперлась, по должности. Иные думают, что знают дорогу. А есть углы, и есть повороты, и есть конец дороги. О них-то известно? Нет! О них и не думают!

– Исчезни, бабка! – рассердился Шеврикука. – Я с утра невеселый.

– Оно и видно. – Лыжная Мазь отскочила от Шеврикуки. И тут же заныла, забубнила, запричитала, выходило, что она несчастная, брошенная, узурпированная, разрушенная солями и нечистотами, а ей не дают канифоли. Вдруг она сделала сальто через десять площадок с горящим спиртом, энергично перевернулась еще раз и заскользила в темноту, будто служила и не при лыжах, а при коньках.

«Что-то в ней сегодня новое, – подумал Шеврикука. – А что – и не поймешь...» И он последовал в Апартаменты.

– За несданные ценности и документы ответственности не несем... – донеслось до Шеврикуки.

Шеврикука движение произвел, будто был намерен швырнуть в дальний угол булыжник. Насморочные звуки тут же утихли.

Однако вскоре он пожалел, что не позволил бабке Старохановой исполнить обязанности и сопроводить гостя в Апартаменты с анфиладами. Ощутил, что сегодня ее конвой был бы уместен. Ожидаемый им поворот судьбы должен был положить конец его походам в Дом Привидений и Призраков. Или навсегда. Или надолго. И не собирался Шеврикука встречаться с Гликерией. А ей необязательно было знать, что она более его не увидит. Он не любил прощаний. Хотя и не думал, что нынешнее прощание выйдет схожим с отрыванием бинтов от незапекшейся раны. Гликерия ему надоела, а он ей, скорее всего, опостылел. Но какая дама пожелает выглядеть брошенной? Ее слова и жесты должны быть последними. Ее часам с боем положено отменить время. Это-то – пусть. Но Шеврикуке, возможно, предстояло исчезнуть. Как бы Гликерия не принялась разыскивать пропавшего без вести и вынуждать кого-либо разузнавать о нем. Это Шеврикуке было не по душе. И неделю назад Шеврикука, посетив Гликерию, как он полагал, напоследок и убедив себя в том, что она и впрямь взбалмошна, капризна, барыня и хватит ему с ней, уже скучно, учинил скандал. Скандал мерзкий. Но все как будто бы у них (или с ними) закончилось. И ладно. Что же теперь-то произойдет при его явлении? Вот отчего конвой бабки Старохановой не повредил бы...

Темень не рассеивалась, и в Шеврикуку вошла тревога. Апартаментам четвертой сотни положено было быть, но их не было. Шеврикука шагал и шагал и мог никуда не прийти. Но не растяжение истоптанного им пространства было причиной его тревоги. «Чудовище! – будто кто-то шипел в нем. – Чудовище! Всюду и вокруг Чудовище!» Какое чудовище? И что значит – всюду и вокруг? И кто шипит в нем? Проносились мимо него серые пятнистые силуэты, кривые плоскости, свитки, чьи-то руки, или глаза, или рыла проступали из тьмы, кто-то кашлял, бранился невнятно, хрюкал, стонал или выл, но все это было знакомо, объяснимо и не несло ни зла, ни предупреждения, хотя Шеврикука, как и прежде, рисковал. Это были блики быта Дома. Нет, чувства возникали новые. В них скребло предощущение Ужаса. Душно стало Шеврикуке, душно! Рука его рванулась к горлу, надо было отодрать давящее. Но не отодрала. И почувствовал Шеврикука, что его, сдавливая уже всего, вбирает в себя нечто живое, страшное и огромное, дышащее жарко и смрадно, и он уже внутри, в чреве Ужаса...

Отпустило. Смрад пропал. И возник свет. Тусклый, словно от двадцатипятисвечевой лампы, но свет.

Шеврикука тяжело дышал. Потом закашлялся. Глазам стало больно, и потекли слезы. Будто его травил газом. Ни Бойс, ни бабка Староханова не могли позволить себе таких развлечений. Кто-то другой. Что-то другое. И своего, похоже, добились. Испугали. Но, может, ничего и не добивались?

Идти назад было бы бессмысленно. Шеврикука и не пошел бы. А вот уже и потянулись Апартаменты четвертой сотни. Дыхание его восстановилось, а глаза не слезились. Шеврикука нащупал невидимый гвоздь и повесил на него воронью лапу с алюминиевым ромбом.

– Войдите, – лениво или вовсе нехотя соизволили пригласить.

И будто зевали.

Шеврикука плечом проткнул стену и вошел.

Пригласили его нынче войти в спальную. Кроме Гликерии, находилась здесь совсем необязательная сейчас Невзора, она же Прилепа, она же Дуняша Отрезанная Голова, она же Копоть. Можно было и еще припомнить имена или прозвища, связанные с той или иной

историей этой вертлявой прохиндейки. В Апартаментах Гликерии она просила называть себя камеристкой чудесной госпожи. Хотя ее следовало бы списать из кухарок в посудомойки.

Гликерия была уже одета, сидела на мягком пуфе вблизи корабля-алькова, почти под самым темно-синим с золотыми блестками балдахином, Невзора причесывала ее. Впрочем, сегодня она была не Невзора, а Дуняша. Стояла в грубой ночной рубаше со следами угля для сонных грез на рукаве, а когда наклонялась, открывала взглядам оранжевые толстые панталоны из байки с начесом, голова же ее, вся в бумажных папильотках, лежала метрах в пяти на стуле.

– Добрый день, – с тихой вежливостью подтвердил свое присутствие Шеврикука.

– Батюшки! Шеврикука! – Длинные руки Невзоры-Дуняши взлетели вверх, костяной гребень выпал из них. – А я неодетая и простоволосая! Срамota какая!

Невзора-Дуняша-Копоть подхватила со стула голову, сунула под мышку, папильоток стараясь не повредить, и понеслась прочь. Перед самым исчезновением она, явно для Шеврикуки, проделала несколько энергичных, кариокских карнавальных движений бедрами, знала, в чем ее сила.

Гликерия повязала волосы зеленой шелковой лентой, встала. Синяка под левым глазом ее не было, а прошла лишь неделя, и синяк обязан был цвести. День она начинала в полупрозрачном турецком костюме с шуршащими шальварами.

– По делу, милостивый государь? – спросила Гликерия, надменно улыбаясь. – Или забрать игрушки?

– Игрушек здесь не держу. Шел мимо и зашел.

– Стало быть, по делу.

– От скуки, – сказал Шеврикука. И посмотрел по сторонам, предлагая Гликерии о делах не упоминать.

– И какое же у тебя дело? Излагай. И проходи дальше. Куда шел. Здесь еще скучнее. С тобой тем более.

Шеврикука смутился. Врезать ей, что ли, снова, дурной бабе? Рука не поднялась. А Гликерия прошествовала мимо него барыней. Какой и была. Барыней! А он стоял перед ней лакеем. Штаны бы на него надеть короткие, чулки и туфли с пряжками, а в руки вставить поднос с чашкой кофе. Идти, идти надо было отсюда, вернуть Горю Бойсу сушеную воронью лапу и более в Дом Привидений – ни ногой! Никогда. Но вдруг опять по дороге станут душить, сдавят и вберут во чрево? Не с монетой ли Капсулы и лошадиной головой связано это?

– Ну, милостивый государь Шеврикука? – сказала Гликерия и пилкой убрала нечто лишнее с розового ногтя. – Я жду.

Тут и влетела Дуняша-Невзора-Копоть. Голова ее была на месте, папильотки сняты, волосы, густые и пышные, подняты вверх для дневных развлечений. Барышня надела кроссовки, джинсы, белую майку с английскими словами и видом кораллового атолла меж грудей. На шее ее висела цепочка желтого металла и не имелось никаких шрамов. Дуняша жевала бублик. Обрадовала:

– Во бублик! Горячий! Гликерия Андреевна, я на кухне их бросила. Хотите принесу?

– Нет, Дуняша, – сказала Гликерия. – Не надо. Сейчас мы закончим с посетителем, и я пройду завтракать в столовую.

– Мне уйти?

– Нет. Разговор пустой и недолгий.

– А чего он притащился, идол-то этот, Шеврикука? – осмелела Невзора-Дуняша и заглотала бублик. Пар пошел из ее рта и ноздрей.

При этом она и глазищами своими будто бы готова была столкнуть Шеврикуку в пропасть. Прежде он сам отправил бы ее в дальние края, а теперь промолчал. Промолчала и

Гликерия, хотя дерзость Невзоры-Дуняши по отношению к гостю, какому-никакому, вышла не по чину. А та, не дожидаясь слов Гликерии или Шеврикуки, поспешила поделиться неотложными чувствами:

– Эта отставная прокурорша опять развесила кошачьи штаны и платья как раз в тех местах, где мне летать, ползать и вопить. Отстирать как следует не может, выжать как следует не может, они мокрые, вонючие, тыкайся в них мордой!

Об отставной прокурорше знал и Шеврикука. Дуняша Отрезанная Голова служила в коммунальной квартире на Знаменке, бывшей Фрунзе, возле Румянцевской библиотеки, в угловом доме с башней, 8/13, выстроенном Шехтелем для доходной дамы Шамшиной. Прокурорша держала семнадцать кошек и двух котов, а чтобы не увеличивалось поголовье, надевала на зверей штаны и платья с застегками и раз в три дня меняла им костюмы. Прежде, имея силу в руках, сносно стирала и отжимала. Развешанные тряпки, будто цирковые, нисколько не мешали Дуняше являться, скорее оказывались уместной декорацией. Соседи, правда, порой связывали выходы привидения именно с сушившимися в ванной или в коридоре нарядами, ворчали на прокуроршу, но негромко. Побаивались Салтычих окриков и историй ее прошлых заслуг. К тому же прокурорша приводила в квартиру активистов общества поощрения котов, и те разъясняли жильцам, что привидения, пусть и без голов, но вызванные котами или их костюмами, чаще полезны, нежели вредны. Нельзя сказать, чтобы эти разъяснения льстили Дуняше, но из снисхождения к полосатым и пушистым она терпела тряпки. Но теперь, мокрые и вонючие, они стали ее раздражать. Гликерия, а иногда и Шеврикука давали Дуняше советы – не ныть, а реже брать назначения на Знаменку или вовсе туда не ходить. Это было бы разумно при шести совместительствах барышни. В них она наводила тоску или буйствовала не Дуняшей, а кем – будет случай, расскажу. Но квартира на Знаменке вызывала у Невзоры-Дуняши особенные чувства. И дело было не в любви ее к эффектам. Конечно, ей нравилось вызывать острые ощущения, обмороки, колики совести, прилеты карет из дурдома, восторги уфологов. Она бралась являться и расчлененным телом, и мумией в бальзамах, и обугленной, и еще чем похлеще. Что ей одна отрезанная голова! Но там чаще всего были именно совместительства и чужие истории. А из квартиры на Знаменке, если верить Дуняше, она происходила. В этом столетии, звучало уточнение, в этом столетии! В двадцать шестом году всю квартиру (ныне в ней шесть жилых ячеек, было больше, доходило до четырнадцати) занимал зубной врач Ценципер с кабинетом. Дуняша служила у него кухаркой, скорее даже домохозяйкой, он ее ценил. Вообще был хороший человек. А в двадцать седьмом году Дуняшу убил негодяй Варнаков. Говорил впоследствии, что в состоянии душевного потрясения и прочее. И не помнит. Сам же клялся в любви. Ходил, ходил, лечил зубы, вот и вылечил. Отрезал голову. Поначалу, может, и любил. И позже, может, любил, но Дуняша ему стала мешать. Соблюдать же «конспирацию по соображениям дела» из гордости она не согласилась. А был он красавец. Бывший матрос. Бей по груди кувалдой – отскочит. И вот зарезал, мерзавец. Грустная вышла история. А потом зубного доктора с его машинами куда-то переместили. Перед войной квартиру занимал генерал Власов. Этот исторический факт отчего-то тоже волновал Дуняшу. «Ну и что? Ну генерал Власов, и что?» – спрашивали Гликерия и Шеврикука. «Как же! Да вы что! – недоумевала Дуняша, глазища таращила. – Ну вы даете! Сам генерал Власов!» Дуняша боялась являться генералу, являлась только его жене. (И мне волнения Дуняши по поводу генерала малопонятны. Впрочем, для меня куда более существенно, что в квартире, в одной из комнат ее, в семидесятые годы проживал мой приятель адвокат Кошелев с семьей, и я у него бывал. У Кошелевых завелись мыши, прокуроршу милостиво попросили выделить на ночь, на две полосатых воинов в штанах. Прокурорша отказала, сославшись на опасность предприятия. Про белую бабу с отрезанной головой от Кошелевых я имел смутные сведения. Легенда о кухарке была. Была. Или о посу-

домойке. Может, и являлась та, но в другом конце коммунального коридора – эвон он какой длинный, две кухни и две ванны, может, и мышей она оттуда пригоняет.)

– Прекрати ходить на Знаменку, – предложила Гликерия.

– Если только из Москвы убуду, – воскликнула Невзора-Дуняша, – прекращу!

– Тогда не ной, – сказала Гликерия. – Или выкинь все тряпки и веревки. Такой сюжет позволителен. Тебя даже поощрят.

– А животные?

– Ну сама и стирай.

– И поплакаться нельзя. И понять нельзя. Конечно, мы особы простые. Кухарки, а не урожденные Тутумлины. И поселены не в Апартаментах с анфиладами, а в номерах тридцать шестой сотни.

– Жалобы молодой кухарки, – сказала Гликерия. – Слышали. А куда же ты сможешь убыть из Москвы?

– Так я и скажу! – Невзора-Дуняша чуть ли не кукиш хотела предъявить, но раздумала. – Особенно при Шеврикуке.

– Тут ты права, – кивнула Гликерия. А Шеврикука стоял в прежней позе на прежнем месте. Можно было предположить, что теперь Гликерия соизволит уделить ему внимание, а Невзора-Дуняша опять на время исчезнет. Но Шеврикука уже расхотел просить Гликерию о чем-либо. Ей не стоило доверять вещицы. Шеврикука чувствовал, что Гликерию так и подмывает сейчас учудить. Или ему назло. Или по настроению. Из каприза. Или просто так. Тонкие крылья ноздрей ее были сжаты, и в глазах мелькало желание куролесить.

– Большой вам поклон, – сказал Шеврикука. – А мне двигаться дальше.

– Ему, Дуняша, наша компания противна.

– Не противна, – сказал Шеврикука. – А малоприятна. И стоять мне тут бессмысленно.

– Ах вот как! – рассердилась Гликерия.

– Конечно! – Дуняша, напротив, обрадовалась. – Небось завел новые шашни. Или его увлекли. Ведь сколько вокруг наглых баб! Вот и у меня, на Знаменке, две комнаты занимает одна такая наглая. Совокупеева!

Шеврикука взглянул на Невзору-Дуняшу с подозрением. Совпадение или произнесено не зря?

– Во! Во! – воскликнула Дуняша. – Сразу напрягся!

– Нам что до этого? – пожала плечами Гликерия.

Шеврикука не был намерен ввязываться в прения с Дуняшей, но ввязался. И по-базарному:

– Ты лучше расскажи, где сейчас твой красавец Варнаков, бывший матрос?

– Сам знаешь где, – строго сказала Дуняша. – В Таинственных Чертогах. В Палате Людских измерений. Там.

И пальцем вниз указала. Но тут же и ойкнула, рот захлопнула ладошкой, будто открыла лишнее и нарушила предписание.

Тихо стало в Апартаменте. Тихо. Но ненадолго.

– Слушай, Шеврикука. – Невзора-Дуняша заговорила уже деловито. – У тебя есть кто-нибудь знакомый в «Интуристе»? Или в «Национале»? Или у Хаммера?

Шеврикука, все еще в базарном волнении («Совокупееву приплела!»), чуть было не поинтересовался, уж не каждую ли неделю, принимая во внимание заслуги и труды Невзоры-Дуняши, допускают ее «туда», «вниз» («Таинственных Чертогов», «Людского измерения») упоминать, понятно, не стал бы) навещать любезного бывшего матроса Варнакова, как он там, на крюке висит или ходит, и не придумала ли Дуняша ради удовольствий новые виды терзаний? Но удержался и сказал:

– У Хаммера никого нет. А в «Национале» и в «Интуристе», может, кто и есть. Не знаю. Надо уточнить, кто и на каком этаже.

– Вот и уточни, сделай одолжение. И чем быстрее уточнишь и замолвишь слово за меня, тем благороднее поступишь. Меня трудно сбить с панталыку, но после «Метрополя» я в расстройстве. Каковы хамы! А сегодня попробую на Тверской, в «Интуристе».

Дуняша принялась тараторить далее, но Шеврикука слушал ее рассеянно, о сути просьбы ее он догадывался. При либеральных послаблениях привидениям, как и домовым, было дозволено свободное, в человеческом обличье, посещение людей. В случаях, разумеется, когда эти прогулки или общения не могли повредить служебным усердиям и благу. Ну и конечно, соответствовали распорядку дня. При обретении свобод и часов независимости первым делом, как известно, требуется насладиться ими. Некоторые, особо голодные, так бросились в наслаждения, что подорвали здоровье, по легендам и без того хлипкое. Или были определены за проказы в холодную. Иные особы наслаждения для себя отложили, посчитав, что не все завоевано. Эти еще продолжали борьбу. В частности, за сокращение рабочего времени привидений и призраков. За внеурочные. За прогрессивную оплату вредных дежурств в рассветную пору. И прочее. Требований было множество. И теперь случались голодовки привидений. Гликерия ко всяческой суете относилась надменно. А Невзора-Дуняша была бузотерка и с охотой участвовала в борьбе. Встревала как-то и в голодовку, но, увы, способностью к голоданию ее натура была обделена. Неунывающая и пылкая московская жизнь увлекла Дуняшу. Многие, ранее недоступные, хотелось примерить на себя и испытать. Приятельница ее Квашня уговаривала пойти в цыганки. Дуняша рассмеялась. А Квашня пошла, нанимала на сроки ребенков, рядилась в старушку, собирала копеечку. Дуняша же после нескольких приключений решила определить себя в путаны и отправилась, то ли по неосведомленности, то ли обнаглев, прямо в «Метрополь». Имела сеанс. И следующий сеньор манил ее усами. Тут Дуняшу настигли враги. Били, как самозванку, зонтами, тыкали в бок ножницы. Таксисты ее, выгнанную и помятую, проводили дальше, назвав «сухой рязанской». А смуглый шмыгало, глаза кому при явлении на свет продирали осокой, пообещал, если она еще раз забредет в чужой огород, отрезать голову.

Кое-кого из встретивших ее в «Метрополе» недружественно Дуняша запомнила, и Шеврикука им не завидовал. Нынче она отправится в «Интурист» и там снова будет бита зонтами. Или чем покрепче. Хотя как знать. Шеврикука наблюдал теперь за барышней и видел, как она собирает себя. Ночью, на Знаменке, она была Дуняша, в Останкине проснулась Дуняшей, сейчас же в ней происходило соединение свойств из разных ее историй и совместительств. Дневная Дуняша и при тонкой ее кости могла показаться женщиной здоровой, крепкой, знакомой с крестьянскими работами. Длинное лицо ее, скуластое, с долгим прямым носом, вполне приглядное, виделось грубовато-загорелым. Крупные руки и крупные же ноги, в ступнях, в подъеме, словно бы подтверждали земную надежность натуры. Не наблюдалось в ее движениях основательности, вертлявая была Невзора-Дуняша. Но вертлявость эта могла возбудить ложные предположения. Ушлый мужик должен был бы сообразить, что с этой бабой лучше не связываться. Но вот бывший матрос связался. То есть не со всей ее, а с частью ее, называемой Дуняшей. И что вышло?.. Прежде чем пойти в путаны, Невзора-Дуняша, наглядевшись телемиражей, захотела попробовать себя фотомodelью или манекенщицей. Однако не нашлось стоящего человека, чтобы выделить ее из толпы и оценить. Лишь однажды на мелком конкурсе надевали на нее брезентовый комбинезон под девизом «А я поеду в деревню к деду», и он на ней лопнул. И ведь не так могуча она была, не из жарких ядер состояла, как Совокупеева. «Фу ты! Опять Совокупеева!» – поморщился Шеврикука.

– А вообще все это дерьмо! – заявила вдруг Невзора-Дуняша. – Все, что вокруг! И Увека Увечная права!

– С чего это, – спросила Гликерия, подняв левую бровь, – последовало такое постановление?

– Со всего! – утвердила правоту – свою и Увеки Увечной – Невзора-Дуняша. Но тут же добавила: – А может, я просто невезучая. Не фартит. И любви нет. Хоть бы познакомили с кем настоящим. А, Шеврикука? Или не слышишь? Вот на Башне и вблизи нее завелись богатые и выгодные духи. Для балов снимают Итальянский зал во дворце. Сведи меня с кем-нибудь из них. Поценнее. Я его охмурю. Или он меня. Ну?

– Не имею чести ни с кем из них быть знакомым, – сказал Шеврикука. – И не видел из них никого.

– Врешь! Вре-е-ешь! – Невзора-Дуняша всплеснула руками. – Такой проныра, как ты, и никого не видел? Врешь! Нет, скучно с вами, скучно! Вот брошу вас и убуду отсюда!

– Увека Увечная уже убывала, – сказала Гликерия, но без назидания и без ехидства, и глядела она не на Невзору-Дуняшу, а внутрь себя. Свое перебирала...

– Увека – дура! – сказала Невзора-Дуняша. – Она в привидения пробилась из кикимор. Неугомонная дура! А я...

– А ты угомонная? Или ты тоже пробилась из кикимор?

Невзора-Дуняша не ответила Гликерии, она, опять ойкнув, прикрыла рот ладошкой и стояла сама собой напуганная. «Вот оно что... – Шеврикука принял во внимание интонации Гликерии и испуг Невзоры-Дуняши. – Всерьез, выходит, обе...» Мещанское привидение (тоже, стало быть, тридцать шестой сотни) Увека Увечная, весной объявившая себя Веккой Вечной или просто Веккой, неделю назад была задержана на таможне в Бресте и возвращена в Москву. Она и впрямь была взята из кикимор, могла являться лишь тенью, скрюченной тенью, с горбом и в чепце, сбитом на ухо. Но себя она понимала высоко, кокетничала напрапую, лезла во все дыры и во всякие приключения, порой и с безобразиями. Была из тех, кто на гаданиях, оборачиваясь к бане голой задницей, просил протянуть по ней куньим хвостом и, уверив себя, что почувствовал мохнатое, ожидал богатств и фавора. Не раз ее укоряли за злое дыхание, за шипение, за распутство, за простое нарушение женской благопристойности. Но она выкручивалась. Может, на самом деле жила под опекой куньего хвоста. Еще раньше Невзоры-Дуняши, раздосадовав ее и многих, Векка бросилась в фотомодели, и в мисс, и в миссис, была удачлива, жгучие брюнеты и шатены целовали ей ручки. Пробовала себя и в путанах, зонтами ее никто не бил. Все ей было мало, здешняя местность стала ее удручать, для начала Векка наметила себе Лихтенштейн. Быстро оформить документы не смогла, терпения не имела никогда, приглядела некоего джентльмена и после взаимных удовольствий улеглась в его портсигар заменной сигаретой. Таможня в Бресте посчитала джентльмена контрабандистом, и вещи его были отправлены в Москву на экспертизу. А Увеку Увечную давно уже хватились в Доме Привидений и Призраков. Отловили и доставили. Куда определили – Шеврикука мог предположить.

– Нет, хоть бы скорее наступила зима, – заговорила Невзора-Дуняша, будто упоминавший Увеки Увечной перед тем и не было, – и опять бы переехали из этой постылой лыжной базы в Оранжевую!

– Чем тебе плоха лыжная база? – спросила Гликерия.

– Всем! – решительно сказала Невзора-Дуняша. – Всем! Всем! Всем! Это общежитие! Я что – лимитчица? Я – коренная москвичка! А это вахтовый сарай-балок для тех, кто добывает газ! Нет! Даже и не общежитие, и не сарай. Ночлежка! Хитров рынок! Барон и пьяная Настя! И все провоняло лыжной мазью.

– Ну, Дуняша, ты несправедлива, – позволила себе улыбнуться Гликерия. – Какая уж тут лыжная мазь?

– Одна лыжная мазь! И гуталин! Крадется за тобой старуха Смазь с насморком – от нее за километр все воняет лыжной мазью. Всю ночь тыкаешься мордой в мокрые и вонючие тряпки, придешь сюда – и на тебе: снова вонь и слежка!

– И у вас в номерах сносно, – не выдержал Шеврикука. – Бывали...

– Во-о! – было указано длинным пальцем в сторону Шеврикуки. – И это полено еще шипит. Отчего, милая Гликерия Андреевна, нельзя было быть вам зорче и предусмотрительнее и не вытаскивать из дров полено сучковатое и с трещинами?

– Полено, как известно, выбирают в темноте.

– Тем более что в темноте, – сказала Невзора-Дуняша.

– То полено, – сказала Гликерия, – вернулось в поленницу.

– Оно так, – сказал Шеврикука. – Но, может, его оттуда и вовсе не вытаскивали.

И снова стало тихо. Невзора-Дуняша серые глаза свои в тревоге переводила с Гликерии на Шеврикуку, будто ощущала себя виноватой в возникшей неловкости. Потом сказала:

– Вот. А в Оранжее все было бы куда веселее... И будет! Будет! Там, говорят, змей объявился.

– Какой змей? – рассеянно спросила Гликерия.

– Большой. Лежит в задумчивости вблизи водяных растений теплых стран.

– Ты сама его видела? – спросил Шеврикука.

– Я говорю: говорят! – фыркнула Невзора-Дуняша уже сердито. – Ладно. Вы мне надоели. Мне все надоели. Я голодная. А мне к шести в «Интурист». Я иду на кухню. Какие тебе, Лика, готовить сегодня костюмы?

– Через час я должна быть на корте, – сказала Гликерия. – Потом в манеже – верховая езда. Потом преподаватель восточных языков. Пусанский диалект корейского.

– Большая жизнь! – вздохнула Невзора-Дуняша. – А Увека Увечная хотела дунуть без языка. Конечно, которые живут в Апартаментах с анфиладами...

Она уже уходила, но обернулась и сказала:

– Но притом вы все же, Гликерия Андреевна, хоть и урожденная, – частное привидение, а не историческое. Да!

То ли она высказывала сожаление. То ли желала уколоть Гликерию. Или поставить ее на место. Шеврикука не понял.

– Я помню, Дуняша, – мягко сказала Гликерия. – Но иные исторические пребывают сейчас по соседству с Увекой. В узилище Таинственных Чертогов.

– И Батищева там?

– И Батищева.

– И Чулкова?

– Чулкова нет. Чулкова в Апартаментах первой сотни.

– Какая Чулкова? – встревожился Шеврикука.

– Та самая! – сказала Невзора-Дуняша. – Та самая! А тебе бы помолчать. Не ваше поле-нье дело! Но где бы кто ни находился, мне на это наплевать!

«Монкураж! – вспомнилось Шеврикуке. – Монкураж!»

А Невзора-Дуняша удалилась, опять ради него произведя кариокские движения бедрами.

– Ну что? – сказала Гликерия и гордо вскинула голову. – Проси.

– Глупости, – сказал Шеврикука. – Ни ты ни о чем не можешь у меня просить. Ни я у тебя.

– Проси, – сказала Гликерия.

– Ладно. Прошу принять, – сказал Шеврикука. И протянул ей мелкие вещи опущенного в прошлое Пэрста-Капсулы.

– Иди, – сказала Гликерия.

- Как скажешь, – поклонился Шеврикука.
- И более не приходи.
- Но если...
- Не пропадут. А коли потребуются, возникнут сами...

10

Шеврикука брел по Звездному бульвару. Когда он пробирался на лыжную базу, небо было голубое, без сметаны, столь свойственной в последние годы московскому безоблачью, вызываемой, по всей вероятности, техническими играми человека и рождающей печаль по истинной небесной лазури. Где нынче та лазурь? Если только в Италии. Или на полотнах Сильвестра Щедрина. И листья на тополях, березах и липах тогда не трепетали. А утром граждан по радио призывали закрывать окна и форточки, брать зонты, надевать резиновую обувь и стараться не выходить из помещений. Циклон от фиордов Норвегии гнал ураган из новгородской земли в тверскую, рвал там крыши, свирепствовал на фермах, подымал в воздух свиней и коров, разорил отделение милиции в Торопце, искорежив мотоциклы с колясками. Да что коляски! Автобусы переворачивало, трубы электрических станций осыпало на землю кирпичами и, похоже, могло раскачать Останкинскую башню. Объявлено было о временной эвакуации персонала.

По часам Башне уже полагалось раскачиваться. А она стояла ровно. И стекла поблизости – ни в жилых домах, ни в учреждениях – не звенели и не бились. Небо затянуло, но никаких свирепостей и буйств в воздухе не происходило. Шел тихий прохладный дождь. И все.

«Ну не ураган. Ну дождь. Опять врет прогноз. Ну и что? Мне-то что?» – думал Шеврикука.

Подступила тоска, и избежать ее он не мог. Проще всего было бы объяснить тоску явлениями природы, сменой небесных обстоятельств, но вышла бы ложь. Да и что бы отменили какие-либо объяснения? Ничего. При подходе к Апартаментам Гликерии на него набросился страх, предощущение Ужаса. Пугаться Шеврикуке приходилось часто, но обычно он сознавал степень угрозы, ее пределы и неизбежность ее разрешения. Или тут же вспоминал трын-траву. Предощущение Ужаса он не испытывал давно, шепот о Чудовище выдавило его сознание, почти забывшее о случаях встреч с силами, желавшими раздавить его и вобрать в себя. От Гликерии Шеврикука уходил в отчаянном кураже, полагая, что его караулят. Но никто его не караулил. И никто на него не напал. Теперь Шеврикука думал: будут караулить и нападут. Но ощущения Ужаса уже казались краткими, и потому с ними можно было согласиться. Приступу же тоски, Шеврикуке знакомому, предстояло длиться вечность, и хуже всего в нем было однообразие тихой боли разума. Эта боль замком затворяла действия и решения.

Шеврикука свернул на Шереметьевскую улицу, дошел до грязного путепровода, у серого бетонного парапета его встал. Под мостом, разрывая Марьину Рошу, текли рельсы ко Ржеву. Менее всего любил Шеврикука в Москве раны железных дорог, запахи гари, металла, черных и коричневых жидкостей, бестолочь брошенных кем-то вагонов, цистерн, холодильников, с ржавыми и битыми боками, нагорья мусора, отходов,хлама, вышвырнутого с небрежностью неуважения к живому, к травинке зеленой и к голубокрылой стрекозе, к чистой капле, калеченые строения, сараи, гаражи, всунутые там и тут безмозглыми и наглыми поденщиками, весь этот хаос и безобразие случайных, проносящихся куда-то временных жителей Земли. Отчего же куда-то? В тупик! В тупик! В тупик! А скорость не утишишь и не остановишь гон колес, исход один...

В приступы тоски Шеврикука приходил и сюда.

В особенности угодно было ему стоять у парапета над Ржевской линией в зимние темно-серые сырые дни. Снег в грязи и копоты усугублял вид городского безобразия. Все понятия о соразмерном и ладном были нарушены и на мосту, и под ним – на путях, вблизи них, на полосах отчуждения. Ничто соразмерное, чистое, незапятнанное и ладное нигде

вообще не присутствовало, все было сплошным отчуждением, все – в порче и нечистотах, и ничего никто изменить не мог.

О, стужа и тоска Земли!

«Все было! Было! Было! И ничего не будет!»

Шеврикука побрел домой.

«На острове Тоски двадцать две стальных доски...»

И все же что-то озадачивало в Останкине Шеврикуку. Может, тишина? Но откуда ж тишина? И день сочился, и шли троллейбусы, и неслись автомобили, и стояли милиционеры. Однако скандального скрежета машин Шеврикука не слышал, не врезался металл в металл; штанги троллейбусов не соскакивали с проводов, не обрушивались на головы прохожих, не обдавали их искрами, таксисты и милиционеры не матерились. Если не тишина, то что же? Смирность некая была в Останкине и Марьиной Роще. Смирность. Или даже смирение...

Он выходил от Гликерии с вызовом: «Нате, вбирайте!» Но никто его не караулил и не вобрал в себя. И может быть, оттого, что он отделался от наследия Пэрста-Капсулы, сбавил его, сплавил в чужие руки? А часом раньше на него напали именно из-за двух мелких металлических вещиц? Нет, такой отгад Шеврикука запретил себе держать в голове, а мысли о Чудовище следовало истребить, как блажь, иначе бы в нем остался испуг. И надолго. Однако он вспоминал, что вручал вещицы Гликерии чуть ли не с удовольствием. Или со злорадством. Впрочем, нет! Но если не с удовольствием и злорадством, то с явным пониманием, что он Гликерию затруднит. Может, даже принесет ей беды. Он явился к Гликерии зря, доверять ей было нельзя, и раз кончено – значит, кончено! Но когда услышал о корте, о манеже, о пусанском диалекте, представил, как принесут Гликерии короткую теннисную юбку – к загорелым ногам, и амазонку, в нем, как и в Невзоре-Дуняше, разыграло. Ну да, конечно, урожденная графиня Тутумлина, пусть и воспитанница, пусть и без приданого, пусть и страдавшая невинно, а он – кто? Опять же у нее не квартира на Знаменке и не два подъезда в Землескребе, а трехэтажный дворец – позднее барокко, с завитушками рококо, конец восемнадцатого века, с подвалами белого камня времен Алексея Михайловича. Пусть бывший дворец сейчас – не дворец, но не исключено, в будущем – опять дворец. Да, можно было объяснить ее капризы последних месяцев и ее претензии. Гликерия маялась – кто она и что ей делать. Не отменена ли она как привидение, не потеряла ли свойства и кому ей являться? У шумноговорящих властей было много безумных идей, задумок, подвижек, но не было денег (может, и были, но утекали в приготовленные кошельки). Решениям же властей, в чем и состояли нынче их стиль и прелесть, полагалось быть неоднозначными и непредсказуемыми. А потому из части дворца Тутумлиных еще не вывели коммунальные квартиры, другую часть изредка посещали реставраторы, а третью часть пока лишь обследовали архитекторы. В коммунальных квартирах явления белой красавицы в ларинском платье не вызывали никаких чувств, хватало своих забот, хорошо хоть привидение не значилось услугой в платежных книжках. А люди искусства, архитекторы и реставраторы, в доме не ночевали. Каково приходилось Гликерии! Снизойдя к ее утратам и печалям, ей разрешили и часы дежурств проводить в Доме Привидений, а на Покровку являться, когда пожелает. Но теперь дом на Покровке стали смотреть! И кто? Выгодные деловые люди, купцы, милосерды и благодетели. Под офисы, под конторы таинственных жонглеров компьютерами, способных накормить жетонами метро. Но прельстительнее всего – под резиденции конвертируемых особ. Поначалу полагали, что особ этих неудобства проживания с призраками и привидениями могут огорчить. И отпугнуть. Провинциальные заблуждения! Одухотворенные особняки любители готовы были купить и перевезти и в Сиэтл, и в Карсон-Сити. А известия о том, что в видении дома на Покровке проявляются лучшие свойства светлой и нежной восточнославянской красавицы («типа Б. Тышкевич, А. Ларионовой, «Анны на шее» и др.» – указывалось в проспекте), и вовсе вызывали восторги. Дом на Покровке уже ходили смот-

реть, но днем. А сообразительные наши сограждане задумали и ночные сеансы смотрин, не гарантируя, правда, еженощных выходов привидения. Шеврикука им не завидовал. Они выznали легенду, но не знали Гликерию. А Шеврикука ее знал. Но, может, Гликерия готовилась теперь к выходам? Отсюда и корт, и манеж, и пусанский диалект? В чьи глаза пыль? И в преподавателе не было нужды. Имелась, в частности, травка по имени бал, Шеврикука ее не видел, но говорили, правда, простодушным и темным: отвари ее, попей и будешь знать, кто что кричит – и звери, и гады, и птицы, и рыбы, и деревья, и камни, и уж тем более люди, на каком пожелаешь наречии. Но подобное освоение языков и смыслов, видимо, дурной тон. Анна на шее. Гликерия на шее. На чьей шее? На чьей? Не на его же! Нет! Не на его! И быть такого не могло никогда! И ни в коем случае не следовало протягивать ей монету и лошадиную морду!

Но что морочить теперь себе голову! Игрок, игрок ожил в нем, Шеврикуке! Как только вспомнили Увеку Увечную или Векку Вечную и Шеврикука учуял в словах Гликерии, в ее глазах раздумья, сомнения в некоем принятом или непринятом ею решении, он все свои «не надо» и «не следовало» отбросил. Гликерия не Увека и не Дуняша, ее затея вышла бы куда отважнее и рискованнее их затей. Но решила ли Гликерия или нет? И что придумала? Многим ли временем располагала? И Шеврикука протянул ей две вещицы. Она взяла...

А впрочем, отодвинулось бы все подальше – и Гликерия, и реликвии Пэрста-Капсулы, отмененного и развеянного, и сами духи Башни, и все. Все!

«А у острова Тоски двадцать две стальных доски...»

11

Но через два дня отодвинулся от Шеврикуки и сам остров Тоски. Хотя и не исчез вовсе. А Шеврикука посчитал необходимым отыскать домового Петра Арсеньевича.

Дождь прекратился, и Петр Арсеньевич вполне мог прогуливаться по асфальтовым тропам Поля Дураков, среди сухих кустарников вблизи трамвайных путей. Или же – в парке. Но нет, Шеврикука с ним не столкнулся. Мимо «Космоса» и бульваров прошел к Алексеевской. И здесь не гулял Петр Арсеньевич. А время было его. Но в подземном переходе Шеврикука сподобился увидеть домового из Землескреба Ягупкина. Харя Ягупкина и всегда была противна Шеврикуке, а тут он сидел на фанерном листе еще и сильно заросший рыжим волосом. Нога у Ягупкина была теперь одна, в сапоге, вытянулась напоказ, а при ней лежали костыли и ушанка для подаяний калеке. Странно, но возле Ягупкина жался Колюня-Убогий с бутылкой минеральной воды в руке. Это Шеврикуку расстроило. «Что это они? – подумал Шеврикука. – Квашня – в цыганки с ребенком, Ягупкин – в нищие? Их дело». Подмывало Шеврикуку бросить просителю, не иначе как ветерану и герою, копейку, но не бросил. Прошел дальше. В подъезде его жил лоб-фантазер Синеквадратов, его в детстве согнул полиомиелит, жил тихо, но когда напивался, грезы его пробивали асфальт, он объявлял себя инвалидом чешской кампании шестьдесят восьмого года, боев на Даманском и под Джелалабадом, ночным спасателем Белого дома. Но тот, кроме кружек пива, никаких наград не принимал. А Ягупкин? Не штурмовал ли он мимоходом и Зимний дворец? Уже наверху, у выхода из метро, Шеврикуку догнали.

– Шеврикука! Эй! Остановись! – орал Ягупкин.

Ягупкин прыгал, отталкиваясь костылями, за Шеврикукой, а Колюня-Убогий, плохо дыша, поспешал за ним. Люди разумно расступались перед калекой на костылях. Явно с ощущением вины.

– Ну что? – остановился Шеврикука. – Что ты орешь? И что ты бежишь за мной? Сидел там и сиди.

– Да мы без зла... – смутился Ягупкин. – Вот Колюня говорит: «Давай угостим Шеврикуку». А я что? Я говорю: «Конечно». Колюня, доставай!

Харя Ягупкина была не только заросшая, но и опухшая. Зрачки его выцвели. Колюня-Убогий, он же домовый со Звездного бульвара Дурнев, достал бутылку и стакан. При последней встрече с Шеврикукой на воскресных посиделках Колюня-Убогий, будучи по расписанию привратником и глашатаем, еще произносил внятные слова. Теперь он верещал радостно-умилительно, выл что-то, будто у него вырвали язык, слюна текла из его рта.

– Не пью, – сказал Шеврикука. – А вы-то за что?

– Как – за что? – осмелев, захохотал Ягупкин. – Ты, Шеврикука, опять в раздражении! А циклон? А ураган? Где они? Фью – и нет их! А ты говоришь – за что! И простолюдинам нальем!

Ягупкин, стоя на одной ноге, костылями обвел проспект Мира, обещая угостить всех простолюдинов. Колюня-Убогий запрыгал и восторженно завыл.

– Какой циклон? Какой ураган? – спросил Шеврикука.

– Которых ждали. Которые сметали. А у нас в Останкине они руки вверх и как миленькие. Дождик теплый, и все.

– Просто иссякли, – сказал Шеврикука.

– Как же, иссякли! Газеты читай! – назидательно заявил Ягупкин. – В Рязанской области возобновились. Элеватор в Сасове, депо в Рыбном, труба в Уфе – все в труху. А у нас в Останкине их скрутили и уняли!

– Кто?

– А ты будто не знаешь? Премудрая сила! – прошептал Ягупкин, костылем указав при этом вниз, в недра. Но прошептал яростно, словно бы в дни обороны Москвы обещал народу второй фронт или секретное оружие. А уже вокруг него трудились ротозеи, полагавшие, что митинг вот-вот откроется.

Что было стоять с дурнями? Да еще где – в Москве при выходе из метро. Шеврикука повернулся и уже на ходу лишь ради Колюни-Убогого бросил:

– Я не пью. Я на больничном. Болею болезнью.

Спускаясь к Дому обуви, Шеврикука услышал публично-доверительное:

– Колюня! Брезгают нами, калеками! Будто он, а не мы стояли на Пресне и на Садовом! Не плачь, Колюня! Поперли его уже из музыкальной школы! Попрут и с лыжной базы! И из Оранжеи! Утри слезу, Колюня! Грудь распрями, бушлат поправь!

И у Кибальчича еще были слышны Шеврикуке крики Ягупкина. И будто бубен звучал. А Колюня-Убогий, случалось, тряс бубном с колокольцами. «Не из Темного ли Угла Ягупкин? – подумал Шеврикука. – Уж больно вольничает». Прежде этого здоровенного и неопрятного бездельника Шеврикука не принимал во внимание. И сегодня его тельник был грязный и в дырах. Но, может, сегодня роль потребовала грязи и дыр? «Что это они все понадевали тельняшки?» – вспомнил Шеврикука о наглеце Продольном.

Видеть более Шеврикука никого не хотел. Но как только, обогнув угол Гознака, стал спускаться зеленым скосом Звездного бульвара, увидел Петра Арсеньевича. Петр Арсеньевич будто растерялся, но приподнял соломенную шляпу, а потом, приняв трость, инкрустированную перламутром, левой рукой, правую протянул Шеврикуке:

– Добрый день, любезный Шеврикука!

– Добрый день...

– Я ощущаю неловкость после тех посиделок. Вы вправе были не подать мне руки, но вы подали... Я понимаю вас... Но я...

– Вы-то тут при чем! – резко сказал Шеврикука.

– Вот и спасибо, что вы так чувствуете... Не располагаете ли вы временем, не согласитесь скрасить мою прогулку пятью минутами общения?

– Ну, если пятью минутами... – неуверенно сказал Шеврикука.

Петр Арсеньевич, с тростью, в белой чесучовой куртке и в чесучовых же брюках, проявлял себя все тем же церемонным мухомором и подчеркивал, на взгляд Шеврикуки, пожалуй, и излишне старательно, что он старик, увы, именно старик. Иные и в девяносто лет резвы, фыркают по утрам под ледяной водой, тяготят мышцы гирей, а Петру Арсеньевичу несомненно нравилось жить стариком. Впрочем, что значило для него девяносто лет. Волосы Петра Арсеньевича были и не седые, а белые, из голубых когда-то его зрачков время истаяло.

– Вот здесь присядем, если вы не возражаете именно здесь со мной поскучать... Я вижу, вы удручены. Я не хочу заглядывать вам в душу... Но вы чем-то печально озабочены. Или удручены.

– Мелочи. Ерунда, – отвел глаза Шеврикука. Потом сказал: – Встретил двух дураков...

– И что же они?

– Глупо повторять. Говорили о некой таинственной силе в Останкине. Или о премудрой силе. Шли на Москву циклон с ураганом. И сгнули. Провалились. Потом премудрая сила их отпустила. Снесло эlevator в Сасове, трубу в Уфе или еще где...

– Слышал. Но что же здесь глупого? Ведь они верят.

– Да?

– То есть... Как бы это сказать... Вот цветок... Вот возьмем какой-нибудь цветок... Ага, вот колокольчик... Нет, что-нибудь попроще. Вон, вон клевер. Кашка. Да. Кашка.

Тростью Петр Арсеньевич указал на бледно-розовые головки клевера, росшего рядом в траве.

– Нет, рвать не надо. Они свое не прожили. Ученый человек, классификатор, все объяснит. Где стебель, где розетка листьев, какое соцветие, какой отряд, какой подотряд, какая в клевере надобность, какая польза, какие калории. И все, все, все. Но для него это лишь мелкое растение семейства бобовых, и не более. А вы взгляните в эту кашку, в этот шар! В это чудо! Совершенство формы, архитектоники, цветовых сочетаний! И притом чудо живое! Да что я вам бубню! И я ощущаю в этом цветке совершенную и премудрую силу, его воплотившую и в нем оставшуюся. Ах, как я плохо принялся объяснять! Главное – есть, это совершенное и премудрое, и оно может себя проявить!

– Может, – согласился Шеврикука. – Но не проявляет.

– Как знать! Как знать! – горячо продолжил Петр Арсеньевич. – Может, и проявляет. Как? Мы не ведаем. Строим догадки. А иные и ведают. Я слышал об одном. Он теперь секретный узник...

– Кто он теперь? – спросил Шеврикука.

– Я оговорился, – быстро сказал Петр Арсеньевич. – Оговорился. Со мной бывает Слабости возраста. Я про другое. Можно ведь эту совершенную и премудрую силу и вызвать. И она явится. Или вызовет. Своей верой в нее. Своим поклонением перед ней, признав в ней вещий смысл. Да, признав и в цветке клевера вещий смысл. И он ответит откровением. Один дальний знакомый мог...

– И он теперь секретный узник?

– Нет! Нет! Я не про это! Не про это! – испугался Петр Арсеньевич.

– Но ведь у каждого своя вера, свое поклонение, свое понимание вещего смысла, свое направление воли, стало быть, из одного и того же, сотворенного кем-то, могут изойти разные силы? Кто что способен вызвать. Или заказать...

– Наверное. Может быть... Я не продумал... Может быть... А к чему мы все это говорим? – спохватился Петр Арсеньевич.

– Пожалуй, и ни к чему, – сказал Шеврикука.

– Ах да, ураган, циклон. Труба упала в Уфе, а не в Останкине. Двое, как вы считаете, дуралеев поверили... Но вдруг они правы. Хотя и не способны что-либо вызвать или ведать о чем-либо...

– Да, конечно, они правы, – поспешил согласиться Шеврикука.

– Или вот, напротив, – сказал Петр Арсеньевич. – Есть нечто, что подразумевает в себе совершенное или даже высшее, нежели совершенное, возможно, заблуждаясь, и несет в себе энергию, или не знаю что, но это нечто еще не родилось, а жаждет, требует быть рожденным и воплощенным в форму. А форм нет. Как к этому отнестись? К нерожденному дитя?

Трость Петра Арсеньевича указала на Башню.

– Это вы к чему? – спросил Шеврикука.

– А? Что? – Петр Арсеньевич будто проснулся. – В чем, любезный Шеврикука, ваша тайна?

– Какая тайна? – удивился Шеврикука.

– Ваша тайна! – капризно сказал Петр Арсеньевич. – Ваша!

– Вы полагаете – она есть? – спросил Шеврикука.

– Должна быть!

– А я считал, что весь – на виду.

– Вы мне ее не откроете, – печально покачал головой Петр Арсеньевич. – Нет, конечно. Но вдруг бы я мог оказаться вам полезен.

– Вы заблуждаетесь. Я таков, какой есть.

– Да, да. – Печаль оставалась в глазах Петра Арсеньевича. – Наша участь – бесконечность схожих происшествий. Иным на это наплевать, иные переносят все в полудреме или во сне, а иные удручены бесконечностью и ищут приключений...

– Это не ко мне, – резко сказал Шеврикука.

– Не к вам, не к вам, – закивал Петр Арсеньевич. – Это так... мысли вслух... Потом ведь что такое тайна? Она только тем и хороша, что тайна. А заглянешь за ширмочку-то, после долгих стараний и риска, а там-то? Пустяковина, пшик. Вот, скажем, власть. Будто всеильна. Одарена страхами, выставлена легендой. И верится, что действительно все может, и есть нечто могучее в ней, в глубине ее, нам не явленное. Но всунешься, жрецов обойдя, за ширмочку, а там какой-нибудь тщедушный карлик, и не умный к тому же... Или пахан. И грустно станет – зачем лез за ширмочку-то?

– Пахан? – спросил Шеврикука.

– Да и пахан... И пахан... С чем только не сталкивала меня жизнь... И все равно – бесконечность повторений сходных происшествий.

– Вас она удручает?

– Удручает или не удручает, а существовать надо. Да и что-то занятное то и дело обнаруживается.

– Чуть было не забыл, – решил Шеврикука. – Вы куда образованнее и начитаннее меня.

– Увольте, увольте! – запротестовал Петр Арсеньевич.

– У одного из моих... скажем, квартиросъемщиков... мне довелось увидеть две вещицы... Может, пустячные. Но я любопытный. А что это, так и не понял...

– Опишите их, – сказал Петр Арсеньевич.

– Я их срисовал, – сказал Шеврикука. – А тонкой бумагой и оттиснул, чтобы были ясны размеры и толщина. Мелкие вещицы.

Петр Арсеньевич взглянул на Шеврикуку с вниманием.

– Вот, пожалуйста, – и Шеврикука протянул старику четыре бумажных листка.

– Надо полагать, монета, – сказал Петр Арсеньевич, – и фибула, часть фибулы...

А пальцы его дрожали.

– Может, монета, – сказал Шеврикука. – А может, жетон. Вроде тех, какими в москательных магазинах добывали керосин.

– А на вес?

– Тяжелые. Будто из благородных металлов. Но и те жетоны были тяжелыми.

– А нельзя ли подержать в руках эти вещицы?

– Их нет.

– То есть?

– Квартиросъемщик съехал. На днях.

– По обмену? Если по обмену, его можно найти в Москве. Пусть и в чужом доме.

– Нет. Его не найдешь. Он вообще съехал.

– Да? – Петр Арсеньевич опять поглядел на Шеврикуку с вниманием. – Жаль. Скорее всего, это не жетоны из москательного магазина.

– А если это подделки? Ложные изделия для какой-либо игры?

– Вот потому-то их и надо было подержать в руках.

– И что же в них примечательного?

– Монета, возможно, из Бактрии. Профиль этот – царя, возможно, одного из наследников македонского государя. А очень может быть, что это обол...

– Обол? – как бы засомневался Шеврикука.

– Обол, как помните, греческая монета, – сказал Петр Арсеньевич. – Ею платили за перевоз в царство мертвых.

– Вот тебе раз! – удивился Шеврикука.

– Потом оболом стали называть предмет, служивший не обязательно платой за перевоз, а, скажем, пропуском в нечто укрытое и тайное... Но я не уверен, что это именно обол... А

фибула... Фибула эта древняя... То есть если верить вашему рисунку... Вы, конечно, знаете о фибулах...

– Конечно! – поспешил Шеврикука. И чуть ли не поперхнулся. Сразу же и отругал себя: зачем теперь-то надо было врать!

– Фибулы встречаются и в скифских захоронениях, – сказал Петр Арсеньевич, – но эта скорее западного происхождения... Похожа на ту, что имеется в музее в Лукке. Вам не кажется?

– Вроде бы... – скашлянул Шеврикука.

– А впрочем, есть сходство с лангобардской фибулой из Фриули... Та и зовется – «лошадиная голова». Но не могу утверждать определенно. Память! Увы! Память! Нет, вы, любезный Шеврикука, имеете дело с дырявым стариком...

– Я так не думаю, – сказал Шеврикука.

– Вот если бы вы мне доверили эти листочки дня на три...

– Нет! – воскликнул Шеврикука. – Нет! Они мне необходимы!

И он моментально, неожиданно для себя, протянул руку и вырвал листочки у Петра Арсеньевича.

Петр Арсеньевич в испуге отодвинулся от Шеврикуки. Пробормотал виновато:

– Я ни на что не хотел посягать... Просто... Мой интерес мог быть вызван увлечением лошадьми...

«Какими лошадьми! – свирепо думал Шеврикука. – При чем тут лошади!»

– Конечно, конечно, – говорил Петр Арсеньевич, – это увлечение возникло оттого, что нам не положено быть всадниками. Что мы можем – покататься украдкой без седла да заплетать по ночам гривы. И более ничего. А ведь история многих столетий на Земле – это история человека и лошади. На то, чтобы возникли стремя, седло, подковы, ушли века...

Петр Арсеньевич говорил, говорил и руками, прислонив трость к скамье, стал нечто показывать, а Шеврикука его не слушал. Он вспоминал, как Гликерия принимала у него на хранение вещицы Пэрста-Капсулы. Как горели у нее глаза любопытством, азартом, ожиданием добычи. Как сжались ее пальцы, лишь только на ладони ее оказались монета и фибула. Потом она успокоилась и будто остыла. Повеселев и даже напевая что-то из «Аскольдовой могилы» и снова не принимая Шеврикуку во внимание, стала ходить по будуару в своих заботах. (В те мгновения Шеврикука увидел на стене новую здесь обманку. Или и впрямь восемнадцатого столетия. Или хорошую имитацию. В зелено-голубой дали стоял белый барский дом, прямо же перед зрителем на будто бы картоне были будто бы приколоты булавами – «как живые» – три пестрые бабочки, рядом с ними лежали два осинового листа. А в углу картона написали «выцветшими» буквами: «Ольгово. Имение гр. Апраксина». Тогда Шеврикука успел подумать: «Ольгово, Ольгово... Ведь что-то слышал...» Теперь он вспомнил: из Ольгова Дмитровского уезда, имения Апраксиных, происходили предки квартиро-съемщика из его подъезда, Митеньки Мельникова. В связи с Ольговом Митенька что-то говорил и про Пиковую Даму, впрочем, он был пьян.) Да, да, Гликерия ходила и напевала и уже не была хищной птицей, наметившей внизу, в огороде, выводок цыплят. Ее ждали корт, манеж, пусанский диалект. Она готовилась выйти из простоя и покорить (испугать, восхитить, соблазнить) во время ночных смотрин валютных особ. «Взглянуть надо будет на эти смотрины!» – сурово пообещал Шеврикука. Но и не одни смотрины без сомнения держала в уме Гликерия... И Шеврикуке стало жалко вещиц. Надо было их отобрать! Вырвать их, что ли, как сегодня он вырвал листочки из рук Петра Арсеньевича. Но Гликерия была не Петр Арсеньевич...

– Да, конечно, куда более, нежели история лошади, меня занимает история рыцарства, – услышал, наконец, Шеврикука Петра Арсеньевича. – Это чрезвычайно увлекательная история. Но без лошади не было бы и средневекового рыцарства...

А Шеврикука потихоньку успокаивался. Теперь он думал, что пальцы Петра Арсеньевича, может, и не дрожали. Может, и Гликерия не была тогда хищной птицей. И все ему прибрелось. Как прибрелось и Чудовище. А вещицы неудачника Пэрста-Капсулы – обыкновенный хлам. Или – расхожие поделки.

– Представьте себе, – Петр Арсеньевич говорил уже восторженно, – два века человечество жило предчувствием появления Роланда...

– Предчувствием явления кого живет оно теперь? – спросил Шеврикука.

– Не знаю... не знаю... – растерялся Петр Арсеньевич. – Но я продолжу, если позволите... Два века – Роланд явился, чтобы пасть в Ронсевильском ущелье. Теперь его чувства к прекрасной Альде кажутся смешными. Они и тысячу лет назад многим казались смешными... Да... Вот нынче на кооперативных лотках можно вроде бы купить любую книгу. Любую чепуху. А высокопочтенные рыцарские романы они не догадались выпустить. Вам, Шеврикука, не приходилось видеть в киосках сочинения, скажем, Кретьена де Труа? Или «Смерть короля Артура»?

– Я на них и не обратил бы внимания, – сказал Шеврикука. – Читаю исключительно детективы и боевики. Всякие крутые вещи. И в пустых квартирах, если уж решу что-нибудь посмотреть на видео, то непременно боевики.

– Ну да, ну да, все эти Шварценеггеры, младшие Ливановы и Соломины, Сталлоне... И самому небось хочется стать сыщиком или суперменом? – полюбопытствовал Петр Арсеньевич.

– Каким уж там сыщиком! – лениво махнул рукой Шеврикука.

– А я вот не отказался бы побыть рыцарем, – произнес Петр Арсеньевич мечтательно. – Но тем, стародавним. В латах, с мечом и копьем, и на коне в тяжелых доспехах. Тогда это был танк. И не отказался бы от дамы сердца.

– Рыцари сражались с чудовищами, – заметил Шеврикука.

– И с чудовищами! – обрадовался Петр Арсеньевич. – Да! И с чудовищами! Славный Беовульф с могучим Гренделем. А потом и с его страшной матерью.

– Чудовищ нынче нет. В Останкине, по крайней мере.

– Кто знает, – сказал Петр Арсеньевич.

– Вы всерьез? – спросил Шеврикука.

– Мы говорили. И из кашки-клевера можно вызвать или вызволить совершенную и премудрую силу. А из чего-то – и злую. Иному же необходимо именно чудовище.

– Но зачем?

– Может, для того, чтобы иметь сторожа. Для себя и своего достояния. У всех свои тайны. Кроме вас, любезный Шеврикука, простите. Кроме вас. А об Отродьях, тех, что на Башне, нам и вовсе ничего не известно. Что им нужно? Чего они желают или жаждут? А тому же славному Беовульфу пришлось биться с огнедышащим драконом, караулившим сокровища древних курганов. Был еще дракон Фафнир...

– «На море на Окияне есть бел-горюч камень Алатырь, никем не ведомый, – Шеврикука позволил себе стать чтецом-декламатором. – Под тем камнем сокрыта сила могучая, а силы нет конца». Или: «Под морем под Хвалынским стоит медный дом, а в том медном доме закован змей огненный, а под змеем огненным лежит семипудовый ключ от княжева терема». Или: «Двадцать старцев, не скованных и не связанных...» Это, кстати, не отпущенники ли из секретных помещений? И так далее. Но ведь согласитесь, Петр Арсеньевич, все это теперь не для нас. И не для нынешних людей. Тем более не для их ушлых детишек.

– Кто знает, кто знает...

– Ну да, я слышал от вас недавно – Чаша Грааля, Меч-Кладенец, отец мой Парсифаль. Теперь вот Беовульф и дракон Фафнир.

– И вы иронизируете надо мной! – расстроился Петр Арсеньевич. – Я так и думал, что этим закончится... Но виноват сам. Сам. Глупая потребность поделиться с кем-то своими соображениями... Но с кем? Выходит – с самим собой. К неудовольствию и скуке собеседников... Старость и одиночество...

– Поверьте, Петр Арсеньевич, я не хотел вас обидеть, – сказал Шеврикука. – И собеседник я не привередливый. Поэтому, наверное, мне нередко случается выслушивать чужие мысли вслух... Сомнения, предположения... и прочее... Совсем недавно имел такой длительный разговор. Я более молчал и выслушивал... И не было обид... И что же у нас в курганах, так скажем? Есть ли сокровища, накопленные и приобретенные в столетиях?

– Вам ведомо самому.

– И что же, над ними лежит камень Алатырь, змей огненный сидит в медном доме и бодрствуют старцы, не скованные и не связанные?

– Вам ведомо самому.

– Нет, Петр Арсеньевич, не ведомо.

– Мне, стало быть, тем более. Я до сих пор пребывал в прихожей посиделок.

– Вы обиделись на меня, Петр Арсеньевич. Снова прошу у вас извинения. Дури мне не занимать. Но к вам я отношусь без иронии, а с почтением. Мне даже могло прийти в голову, что вы из тех старцев, не скованных и не связанных, коим выпало бодрствовать и оберегать. Или хотя бы быть посвященным в их суть.

– Вы ошибаетесь, – сказал Петр Арсеньевич. – К тому же вы справедливо заметили – чего стоят давние слова о камне Алатыре и змее огненном. Это – простодушие начальных испугов и надежд. Оно не возвратится.

– Но если дать волю фантазии... Что же могло быть бы в наших курганных сбережениях?

– Полагаю, что не золото, не камни смарагды и не сапфиры.

– Половник для щей, ухват, кочерга, братина, ендова, сбитенник, самовар, кадка с соленьями...

– Что, что? – напрягся Петр Арсеньевич.

– Это я так... Вспомнил нечто, кем-то недавно произнесенное... – сказал Шеврикука. – И что же, в тех ендовах, в тех сбитенниках и кадках было бы разлито одно благо? Одни меды и кисели?

– Не думаю. Горькие соки никуда не истекают. И не высыхают. И много ли в нас благо? Как и в людях? К тому же будто бы сказывается происхождение. Иные из-за него самоedствуют и корят сословие. Другие из-за него же, напротив, трубят в фанфары.

– Из-за какого происхождения?

– Из-за предания, что мы низвергнуты. А уж потом наполнены людским.

– Это спорное мнение. А предание, возможно, позднее и подложное.

– Да, мнение спорное. И предание... Согласен... Но блага в нас, увы... И приумножается ли честь? Да что – приумножается? Сберегается ли честь? Оттого я и увлечен рыцарством, хотя сам пребывал в грехах и проказах, что там была честь!

«Заклинило старика», – подумал Шеврикука. Он был сейчас не только спокоен, но и благодушен.

– А этот змей, про которого говорят, что завелся в Оранжерее, – улыбнулся вдруг Петр Арсеньевич, – надо полагать, не Фафнир и не Беовульфова судьба. Те ведь не только извергали огонь, но и имели крылья...

– А что, – спросил Шеврикука, – в Оранжерее завели змея?

– Говорят...

– Петр Арсеньевич, – сказал Шеврикука, – если у вас не исчез интерес, я мог бы дать вам листочки с рисунками и оттисками. Но, конечно, с возвратом. И ненадолго.

– Что вы! – воскликнул Петр Арсеньевич. – Конечно не исчез! Мне только взглянуть кое-куда и сравнить... И подумать... Завтра же я вам их непременно верну!

Но пальцы Петра Арсеньевича, когда он принимал листочки, опять дрожали.

– Завтра же! Завтра же! – горячо заявил Петр Арсеньевич. – Вот в этом самом месте. В шесть вечера. Если вас устроит.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Я приду.

12

Четыре дня Шеврикука прожил расслабившись. В благодущии он вернулся в Землескреб, его никто не спрашивал и никуда не тянул, больничный не терял силу. Хотел было в квартире флейтиста Садовникова, кошатника и книжника, тихой букашкой проползти в справочники и выяснить, что такое фибула, но заскучал и фибулу отставил. Обеспокоился, как бы скука не перешла в тоску, и отправился в квартиру картежника-акулы Зелепукина. Зелепукин гастролировал в поездах Транссибирской магистрали или пил женское тело в Сочи, в отеле «Дагомыс». А видеотека у него была богатая. И был игровой компьютер.

Кассеты Шеврикука ставил наугад. По причине снабженческой образованности Зелепукин украшал все коробки кассет, даже и с историями инспектора Лосева, английскими словами, для Шеврикуки не всегда доступными. Оттого в просмотрах Шеврикуки случались повторы. Правда, старья Зелепукин не держал. Если только классику порядка «Конана-варвара». На этого Конана (а может – конунга? Все же княжеского рода был там Шварценеггер. Надо бы спросить у обожателя лошадей и средневекового рыцарства) сразу же и напоролся Шеврикука. И не пожалел. Даже растрогался, наблюдая (в который раз) жертвенные действия девы-валькирии. Посидел в тишине и снова завел «Конана-варвара». Музыка, особенно в эпизодах с адским жрецом, казалась знакомой и будто бы взятой в долг, но и она не раздражала Шеврикуку. А потом широконосого Хакмана посылали во Францию отлавливать наркомафию, а он чуть не отдал концы. А потом воспитанный для террора блондин потерял под водой память и, сам того не понимая, искажил замыслы вашингтонских ястребов. А потом... «Э-э-э! – сообразил Шеврикука. – Уже полшестого».

Лень было идти Шеврикуке на Звездный бульвар, да еще почти к Гознаку, но из приличия он пошел. Не явился Петр Арсеньевич в шесть, не явился в половине седьмого, а без четверти семь Шеврикука, вслух и громко выбравшись, отправился домой. Пустым вышел и его поход новым днем. Необязательным проявлял себя Петр Арсеньевич. «Что я шляюсь из-за этих бумажек! Будет время, сыщу старика», – решил Шеврикука и вернулся в салон Зелепукина.

Снова пошли удовольствия. Теперь терзал негодяев Сталлоне, а упрямый шериф проваливался сквозь стеклянную крышу. Русскими словами чаще говорил за героев человек с тяжелым и неизлечимым насморком, порой, когда насморк становился совсем уж невыносимым, на экране лишь дергались чухонские титры (фильмы, стало быть, предлагались свежайшие, записанные в балтийских заливах), но и тогда Шеврикука почти обо всем получал представление. Особенно хороши были для Шеврикуки фильмы о полицейских, отчасти грубоватых и невежественных, но отважных, из-за строптивости обычно попадавших в опалу и отстраняемых от дел. Как рискованно и круто они проводили расследования, в одиночку или в компании с гибким, самоотверженным негром-напарником! Так бы и сидел Шеврикука у телевизора, так бы и наслаждался страшными тайнами, погонями звездных кораблей, поисками ковчега Моисея, если бы не одно обстоятельство.

Обстоятельство это заключалось вот в чем. Зелепукин был натурой широкой, но экономической. Пустот в кассетах не допускал. Но в паузах писал не мультики, а секс. Эстетический, житейский, учебный – со сменой комбинаций и компаний, фигурный, всякий. Были у него кассеты, полностью отпущенные картинам любовных искусств. Иные – для себя. Иные, позабористее, – уготованные на продажу ценителям кавказским и туркестанским. Шеврикука поначалу, полеживая на диване и имея в руках щиток дистанционного управления, кнопками заставлял ремесленников любви, чтобы не мешали детективам, мелькать, кувыряться и в мгновения бесследно исчезать. Но потом ему словно бы лень стало издеваться над

ними, он их уже не подгонял и от экрана при этом не отворачивался. Тогда ему пришло на ум: «А не подняться ли к Легостаевой?» На ум! Если бы на ум!

Шеврикука и ножом тыкал себя в живот, пытаясь болью умерить пыл. И прекращал просмотры. И отвлекал себя, включив компьютер, игрой «тетрис», проводил медведя мимо ульев к водокачке, а все время выскакивал пасечник с дубиной, и его надо было избегать. Не помогало. Шеврикука снимал со стены гитару и пел: «Звериной тропой Забайкалья...» Перекинул слова, чтобы вышло больше зверства. Толку никакого. Брал тома кооперативных детективов, буквы покрывало туманом, а ценный Шеврикукой частный сыщик Арчи Гудвин не мог выстрелить из тридцать восьмого калибра. Все в Шеврикуке было возбуждено и не вопрошало, а требовало: «А не подняться ли нам к Денизе!»

Дениза, она же товарищ Нина Денисовна Легостаева, просившая Шеврикуку отчего-то называть ее в мыслях Денизой, жила тремя этажами выше. Легостаева вела в культурном институте общественные дисциплины. В прошлом году она дважды вызывала милицию с жалобами на домового. Жалобы были схожие. Из заявлений Легостаевой выходило, что местный домовый – сексуально озабоченный и нападал на нее с целью произвести надругательство. Милиционеры удивлялись, но составляли протоколы. Шеврикуку вранье Легостаевой не злило, напротив, оно было отчасти лестно. Так или иначе, женщина признавала де-факто существование его и его сословия, пусть и таинственное, а вызовом представителей власти (грозила, если не разберутся, звонить самому полицмейстеру) и словами об уголовном деянии возносила Шеврикуку и в юридическое состояние. Большинству же населения были безразличны домовые и их заботы. Но хоть это большинство уже не относилось к потерявшим крышу, как было раньше, ее расспрашивали с вниманием, фотографировали в квартире в местах нападения, показывали по московскому каналу, правда, там специалист, пусть и соглашался с возможностью полтергейста, все же тонко подвел зрителей к мысли об изголодавшемся инопланетянине. Но Шеврикука-то знал, кто изголодался. Легостаева подавала знак ему. Она проклинала его. Она ревновала его. Она молила его! Она ждала. Крайность состояния вынуждала ее звонить в милицию.

Обязан сообщить, что Легостаева была страшила. Причем страшила в окулярах-директивах. На такую взглянешь вскользь и пожелаешь отвернуться. А Шеврикука видел фотографии Легостаевой в школьной форме. И ничего. Девочка как девочка. Милая даже мордашка. Шеврикука был убежден, что физиономию Легостаевой перекорректировали общественные дисциплины. Нос, рот растянул, а потом и скукожил диалектический материализм. Из скул, ушей, бровей выпирали истматы, базисы, надстройки, прибавочные стоимости, третий и четвертый постулаты Канта. В глазах угрюмо тлело презрение к эмпириокритицизму. Но тело Легостаевой не знало общественных дисциплин. Какое это было тело! Тело ее, скрытое безвкусными тряпками, не видел никто. А Шеврикука видел. Оно было неопишущей красоты. Хотя при чем тут красота? В нем предощущались иные достоинства. Красота, полагал Шеврикука, должна волновать художника. А он был не художник, а экземпляр мужского пола. И его влекло. В Легостаевой же в ее тридцать восемь лет все бурлило, клокотало и жаждало утоления страстей.

Как все вышло у них впервые, расскажу, если представится случай. Замечу только, что в Перечне Услуг домовых значилось среди прочего и «Утоление страстей квартирорыемщиков». А потому Шеврикука после общений с Легостаевой, не частых, отмечу, разъяснял себе (нужда возникала), что по отношению к Гликерии дурного он не совершил. Такой Перечень. К тому же добавлял: мало ли какие услуги в Перечне привидений, он их не знает и знать не хочет. И добавлял: к Легостаевой он ходит не из чувств, а из жалости. Замечу еще: Легостаева дала понять, что страсть желает утолять с домовым (имя Шеврикука ей не было известно) невидимым, но с осязаемым и ощутимым. То ли в грезах ее было это нашептано, то ли имелись к тому гуманитарные основания. Ну и ладно. Шеврикуку пожелание устраивало.

Но дома ли теперь сидела Легостаева? Возбужден Шеврикука был так, что мог сейчас дать повод для третьего вызова милиции. Но принесся бы к Легостаевой, а ее нет. Сгорел бы подъезд. Шеврикука набрал номер, подышал тяжело и услышал: «Приходи... Умоляю... Приходи... Через полчаса...»

Через полчаса!

За полчаса можно было бы добраться и до Совокупеевой. Но нет, ни Совокупеева, ни тем более Гликерия не были сейчас нужны. Следовало вытерпеть полчаса и подняться именно к Легостаевой.

И поднялся.

Произвел шум. Гремел кастрюлями, скреб по полу щеткой. Давал Легостаевой знаки: он явился. Услышал взволнованное: «Ты пришел... Милый... Но не спеши... Подымись кверху... К потолку... К небу... Пролейся сегодня золотым дождем... Будь сегодня нежным... И не спеши... Я позову...»

Ага. Пролейся золотым дождем. Он, значит, нынче будет Зевс, а она – Даная. И еще. Просьба не спешить и проявить себя нежным. В прошлый раз потребовала немедленно стать грубым ненасытным самцом и теперь небось через десять минут возжелает грубого самца. Представления Денизы о любовных утехах, возможно, были лишь литературно-исторические (хотя девушкой ее Шеврикука не застал). Чувственные удовольствия ей нравилось размещать в отдаленно известных сюжетах. Однажды она пожелала стать Жанной д'Арк, совращаемой вероломно подосланным к ней монахом. Монах этот, как выяснилось в дальнейшем, оказался не только иезуитом, но и извращенцем. Потом Легостаева была революционеркой, собиравшейся убить царя, но пойманной и брошенной в одиночную камеру Петропавловской крепости. Приходил и пытал ее следователь Бекашин (и фамилию придумала), поначалу лстивый и сахарный, затем жестокий. И он в дальнейшем оказался извращенцем. Шеврикука полагал, что сюжеты эти вызваны стараниями морально послушной Легостаевой уговорить в просветленно-трудовые дни саму себя и совместить ее представления о всемирном развитии с несовершенствами грешного тела. Позже к ней, уже царевне Софье, пробирался в Кремль подземным ходом из своих охотнорядских палат князь Василий Васильевич Голицын. Истории вспоминались Легостаевой драматические, в них неподалеку свирепела гибель, возможно, и в ее близости для Денизы отыскивались оправдания. Но Даная?.. В судьбе дочери аргосского царя Акрисия, пожалуй, было благополучие. Хотя папаша и запирали ее в медном тереме под землей, чтобы не имела ухажеров, – ему пообещали смерть от руки внука. Но потом-то не ей снес голову диском на Олимпийских играх сынок Персей, а именно несчастному деду Акрисию. Если правильно помнил Шеврикука. Впрочем, это было их дело и дело Денизы, а Шеврикукино дело было теперь парить под потолком невидимым Зевсом.

Он парил и даже производил громыхания в небесах, правда не громкие, чтобы не испугать жителей своих подъездов. Легостаева включила лампу, стоявшую у дивана, прошептала:

– Милый... я жду... пролейся золотым дождем.

И стал Шеврикука золотым дождем.

Но и как было предложено, опускался золотыми градинами неспешно, словно и не градинами, а листьями или лепестками, направляемыми вниз смирным ветром. А потому и успел рассмотреть женщину. Легостаева лежала нагая, откинув легкое одеяло и приняв позу рембрандтовской Данаи. Очки она, правда, не сняла (и это Шеврикуку не расстроило), а у запястий ее краснели браслеты, не столь дорогие, наверное, как у аргосской царевны, скорее всего, пластмассовые, но и они не вызывали у Шеврикуки досады. Прекрасным все же природа одарила женщину телом. И груди ее были хороши. И бедра, и живот, над пушистым холмом в меру полный, обещали удовольствия. И запахи ее кремов устраивали Шеврикуку

(вспомнилось ему, как при нем Невзора-Дуняша натирала Гликерию благовониями, но при чем, при чем была теперь Гликерия, она утонула в прошлом!). Легостаева, видно, этим летом плавала и ныряла, нежилась у водоемов в бикини – белые полосы кожи были Шеврикуке приятны. «Ба, да у нее на шее след от цепочки. Может, стала надевать крест? – предположил Шеврикука. – А сейчас засмуцалась и сняла?» Впрочем, не его это была забота. «Вот ты уже здесь... Вот ты уже меня коснулся, – шептала Легостаева в истоме. – Какой ты нежный... Не становись пока большим... Побудь маленьким... Маленьким-маленьким... Одной каплей... Одной золотой горошиной... Побудь здесь...» Было указано место для горошины: в ущелье меж полушарий грудей. Пальцы Легостаевой касались Шеврикуки, катали его по белой коже. «А теперь становись большой и тяжелый... обними меня всю... всю... войди в меня и займи меня всю... всю!» Золотая горошина исчезла, а невидимый, но осязаемый и ощутимый Шеврикука разросся, огрубел, стал огромным, чуть ли не в полкомнаты, обнял Легостаеву и вошел в нее...

13

Было пасмурно и сыро, когда Шеврикука выбрался во двор. Шел, подставив лицо дождю. Смутным видением надвинулись на него Ягупкин и Колюня-Убогий.

– Сколько теперь времени? – спросил Шеврикука.

– Одиннадцать, одиннадцать, – ответил Колюня-Убогий. – Пятница.

– Сколько? – не поверил Шеврикука. – Одиннадцать пятницы? Уже?

– Во-о! – обрадовался Ягупкин. – Откуда ты выполз такой смурной? Тебя шатает! Смотри у меня! Будешь баловать, пропадешь, как этот старичок!

– Какой старичок? – спросил Шеврикука.

– Старичок, старичок, старичок, – запел Колюня-Убогий и, похоже, был готов пуститься в пляс. – Пропал старичок!

– Да не вой ты! Какой старичок пропал? – обратился Шеврикука к Ягупкину.

Был Ягупкин опять на двух ногах, но очень утертый кулаками. Возможно, и твердостью обуви.

– Не пропал он, твой старичок, – сказал Ягупкин. – А сгинул. Сгиб.

– Тебя зонтами били? – спросил Шеврикука.

– Какими зонтами! Дикари! Людоеды! Книгами! Английской живописью из Эрмитажа! У них там, понял, стоял лоток. Он у них недолго постоит!

– Постоит, постоит, постоит! – заплясал Колюня-Убогий.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – Какой старичок-то? И почему – мой?

– Старичок, старичок, старичок! – Колюня-Убогий пошел вприсядку и будто бы держал в руке платок. – Петр Арсеньевич, старичок, как и ты, изнуренный.

– Ихним лотком – им по башкам! – сказал Ягупкин. – А один еще на валторне играл.

И валторну! А старичок Петр Арсеньевич именно не пропал, а сгиб.

– Но он не мог погибнуть, – сказал Шеврикука.

– Мог, не мог! – поморщился Ягупкин. – Тебе говорят, значит – сгинул. Иди посмотри. Там взрыв и пожар. Может, эти отродья с Башни.

– Он им мешал? – спросил Шеврикука.

– Нет, ну ты точно изнуренный, – сказал Ягупкин. – И тебя шатает. Ты до Кондратюка не дойдешь.

– Дойду, – сказал Шеврикука.

И пошел.

А Ягупкин и Колюня-Убогий решили его сопровождать.

Жизнь дома на Кондратюка, где обитал Петр Арсеньевич, и верно, была нарушена. Людей одного из подъездов определенно выселили. Рамы раскуроченные увидел Шеврикука, черные следы пожара. Сам учинить такое Петр Арсеньевич не мог. Погибать он не собирался. Еще совсем недавно он опасался сокращений и перетрясок и, надо полагать, не допустил бы и безобразий жильцов. Стало быть, могла проявить себя посторонняя сила. Впрочем, соображал сейчас Шеврикука плохо и пребывал в растерянности.

– Во! – указывал на разрушения Ягупкин. – И этих с лотком и валторной надо бы так!

– Когда был взрыв и пожар? – спросил Шеврикука.

– Три дня назад. Вот только ураган отпустило. И циклон. И бабахнуло.

– И жертвы?

– Двоих увезли в каретах. А может, и больше.

– А с чего вы взяли про старичка-то?

– Старичка, старичка, старичка! – заплясал Колюня-Убогий. – Взяли, взяли, взяли!

– А потому что в этот дом уже намечают нового! – хмыкнул Ягупкин.

– Но, может, Петра... этого Арсеньевича... – осторожно предположил Шеврикука, – куда перевели...

– Перевели! Пойди prospись! Петр Арсеньевич – тю-тю!

Ничтожный Ягупкин грубил, а у Шеврикуки не было сил поставить оболтуса на место. «Что их слушать?» – подумал Шеврикука.

– Пойду и prospлюсь, – согласился Шеврикука. – Я – больной, на больничном. Болею болезнью.

«Расследование и дознание!» – указал себе Шеврикука по дороге домой. Но прежде следовало отлежаться в малахитовой вазе жильцов Уткиных, прийти в себя, поверить в возможность исчезновения или гибели Петра Арсеньевича и все благоразумно обдумать. В малахитовой вазе Шеврикука и залег.

«Начинать надо с Тродескантова! Именно с него! С Тродескантова!» Мало ли что могли вбить себе в голову Ягупкин и Колюня-Убогий и мало ли чему в волнении мог поверить он, Шеврикука. А Тродескантову он имел повод задать вопросы. Домовой Тродескантов по жребии был распорядителем последних деловых посиделок, и он, пусть и деликатно, не допустил Шеврикуку в залу заседания. Шеврикука мог теперь, проявив себя скандалистом, потребовать сведений, где же этот старичок, Петр Арсеньевич, выдвигенец, его заменивший? Есть он или его нет? Пусто ли его место? И если пусто, не состоится ли возвращение его, Шеврикуки, в действительные члены посиделок? Хотя сам он хлопотать о возвращении не намерен. Только в случае извинений перед ним – он посмотрит. Не сразу, а лишь ощутив возобновление сил, Шеврикука отправился искать Тродескантова. Говорил шумно, именно скандалил. Никакие тайны домовых Тродескантов разглашать не имел права, и давать справки его никто не уполномачивал. Но напор Шеврикуки привел стеснительного Тродескантова в волнение. «Ничего я про Петра Арсеньевича не знаю, – суетился Тродескантов. – Его уже нет в ведомости». «Нет, его точно вычеркнули? – кричал Шеврикука. – Или это слухи?» – «Ну, вычеркнули, вычеркнули...» – «Но вы видели, что его вычеркнули? Или знаете с чужих слов?» – «Ну видел, видел, – растерянно повторял Тродескантов. – И сняли с довольствия...» Ах, распалялся Шеврикука, если этот Петр Арсеньевич таков, что его соизволили вычеркнуть, то как же посмели им заменить его, Шеврикуку, на посиделках! «Я тут ни при чем...» – ныл Тродескантов и отступал от Шеврикуки. «А кто же при чем?!» И далее. И далее. Громкие слова униженного и оскорбленного. На полчаса.

Но главное Шеврикука узнал.

Раз вычеркнули и сняли с довольствия, Петр Арсеньевич и впрямь исчез. И скорее всего, безвозвратно. Мог попасть и в секретные узники. Но вряд ли. Не той степени была личность. Сам истребить себя Петр Арсеньевич не имел возможности. Если бы и имел, то зачем понадобилось бы ему сгинуть? Причин Шеврикука не находил. Стало быть, с ним сотворили. Кто? Можно было строить догадки. Сотворили свои или чужие. Правда, кого считать своими и кого чужими... Но почему? Или зачем? Решение судьбы Петра Арсеньевича было явно внезапным. Возможно, неожиданным и для исполнителей. Не из-за его же, Шеврикуки, бумажных листочков с рисунками и оттисками! Но тогда бы дотянулись до самого Шеврикуки. Или до Гликерии. Нет, рисунки вряд ли принимались во внимание.

Но было отчего обеспокоиться Шеврикуке.

И выходило, что он жалел Петра Арсеньевича.

Шеврикука вспоминал: с кем был в приятельстве Петр Арсеньевич или хотя бы с кем поддерживал отношения? Сведения об этом были у него туманные. Петр Арсеньевич говорил о своем одиночестве и об отсутствии собеседников. Но не всегда же он был одинок. Кто-то наверняка знал и про обстоятельства его останкинской жизни. Это предстояло выяснить.

Нетерпение гнало Шеврикуку к пятиэтажному дому Петра Арсеньевича. И все же Шеврикука посчитал, что визит следует отложить до полуночи. Да, новый домовой, как

выяснилось из оправданий стеснительного Тродескантова, туда еще не перебрался, хозяйство не принял, но мало ли что? Вряд ли дом оставили без присмотра. И возможно, присмотр этот поручили цепкому глазу. Не исключено, что и не одному. Ну ладно, пообещал Шеврикука, как-нибудь сообразим...

Но назначением полуночи Шеврикука скорее стремился утихомирить себя и действовать хладнокровнее. Что день, что ночь – условия визита оставались одинаковыми. И наверное, Шеврикуке предстояло превратиться в летучее насекомое – в комара или в дрозифилу. Либо стать пробивным тараканом, какому доступны все ходы коммунального строения. Не скажу, что это было приятно Шеврикуке, но, пожалуй, мелкое существо могло проворнее отыскать тайники Петра Арсеньевича. А они, полагал Шеврикука, были. Если их, конечно, уже не опустошили. Или не спалили в минуты пожара.

Дом Петра Арсеньевича был хрущевских времен, без лифтов, квартиросъемщиков в нем проживало меньше, чем в двух подъездах Шеврикуки. Причины взрыва и пожара, разведая Шеврикука вечером, были самые обыкновенные. Утечка газа, повреждение проводки, пьяный курильщик в постели. Создать их не стоило трудов. Причем не постеснялись учинить беды людям, значит, сила действовала – бесцеремонная. Вряд ли Петр Арсеньевич, каким его Шеврикука знал, не следил за газом и электричеством.

В сумерках Шеврикуке показалось, будто за ним наблюдают. Будто рожа наглеца Продольного мелькала в кустах бересклета. Будто шуршание чье-то следовало за ним. В тронутым взрывом подъезде было сыро и пахло горелым деревом. На трех этажах жильцов оставили, на четвертом и пятом квартиры освободили. Путешествия Шеврикуки мухой-дрозофилой были неспешно-осторожными и неожиданно утомили его. К открытиям они не привели, хотя и подтолкнули Шеврикуку к некоторым размышлениям. Но когда он летал в совмещенном уют-кабинете и был намерен спикировать под ванну, засыпанную кусками грязной штукатурки, он ощутил движение воздуха. Никаких ветров здесь быть не могло, но его, Шеврикуку, явно кто-то хотел сдуть или прибить к стене. А потом чья-то рука возникла, отдельная, сама по себе, смутно видимая, но чуть ли не с когтями. И рука эта стала ловить Шеврикуку. Дважды она взлетала, и пальцы ее сжимались, Шеврикука едва-едва успевал проскочить меж ними. И кто-то ухал в досаде. «Этак ведь раздавят! Или прихлопнут!» Шеврикука ринулся ввысь, к потолку, к вентиляционному отверстию, юркнул в него, а рука ударила по пластмассовой сетке, и стена треснула. Несся Шеврикука трубами, воздушными ходами, словно им выстрелили, вылетел в пространство ночи, лишь во дворе разрешил себе спуститься в зелень. «Каким тут комаром! Какой мухой! Истинно раздавят или прихлопнут!» И вырос в прежнего Шеврикуку.

Но он был рассержен, вошел в состояние: «Сейчас я с ними разберусь» – и двинулся к дому. Сразу же услышал жестяное: «Не лезь, Шеврикука! Не суйся!» А никого рядом и не было. И будто бы камни покатались вниз в водосточной трубе. Сначала Шеврикуку остановила некая невидимая плоскость, словно бы он ткнулся лбом в незамеченную им стеклянную дверь. И тут же из мрака выпрыгнул гибко-резиновый призрак в шишковатом шлемемаске и с палкой ниндзя в руке. Не раздумывая, Шеврикука ударил его в голову. Призрак охнул, согнулся, но смог вскинуть палку...

Когда Шеврикука пришел в себя, он увидел рядом с собой Пэрста-Капсулу. Было утро. Шеврикука лежал в траве сквера улицы Королева. Пэрст-Капсула стоял над ним.

- Ты же... – еле пробормотал Шеврикука.
- Нет, – сказал Капсула. – Я остался. Я забыт.
- Это ты меня ночью?
- Нет, не я. Я нашел вас здесь.
- Даже так? – спросил Шеврикука. – Именно здесь?
- Да. Я искал и в других местах. Но нашел здесь.

– Ладно. – Шеврикука попробовал подняться и встал. – Ничего. Все движется. Могло быть и хуже. Но стоит пойти и продлить больничный... Тебя послали меня отыскать?

– Меня никто не посылал, – сказал Пэрст-Капсула. – Меня нет. Меня забыли. Я сам по себе. Я искал сам.

– Но если забыли, – предположил Шеврикука, – могут и вспомнить.

– Вряд ли. У них суета. Потому и забыли. И я для них слишком мелкий. Полуфаб. Возможно, недосотворенный. Промежуточная стадия. Или не так сотворенный и брошенный...

– Пэрст – что за имя?

– Пэрст – проблемы энергетического развития судеб. Транспортно-биологические, в скобках. Лаборатория.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – И что же мне с тобой делать?

– Я вижу: вы теперь в затруднении, – сказал Пэрст-Капсула. – Может, я способен в чем-то вам помочь?

– Ты-то? – удивился Шеврикука. – Вряд ли. И сам говоришь – слишком мелкий.

– Именно потому, что слишком мелкий... Но обучен многому...

Чуть ли не обиду ощутил Шеврикука в голосе духа. Не слаб и не сентиментален, как в ночь прощания, а серьезен был теперь Пэрст-Капсула. Мгновенно возникло соображение.

– Ты пришел за своими вещами? – спросил Шеврикука.

– Нет. Просто потянуло к вам. Но они у вас?

– Они пропали, – сказал Шеврикука.

– Известно, кто их взял?

– Пропал мой знакомый, кому я доверил их укрыть. Возможно, вместе с ним пропали и вещицы. Возможно. Но возможно, что тайники его остались нетронутыми. Я хотел проверить, но мне не дали.

– Где и как? И кто не дал?

Шеврикука, не тратя много слов, рассказал о Петре Арсеньевиче, о его доме, взрыве и пожаре.

– Я могу проникнуть, – сказал Пэрст-Капсула, – и посмотреть.

– Ну-ну! – покачал головой Шеврикука. – Уж если я...

– Я могу. У меня другие возможности.

– Попробуй, – сказал Шеврикука.

И он отправился домой. Пэрсту-Капсуле было предложено, если попробует и справится с делом, прибыть ночью во двор Землескреба в то самое укромное место, где он и вручил Шеврикуке вещицы в канун ожидаемой им гибели.

В два часа ночи Шеврикука вышел во двор. Пэрст-Капсула ждал его.

– Я там был, – сказал он. – Тех вещей там нет. Или я на них не наткнулся. Отыскал лишь это.

И он протянул Шеврикуке портфель, какие имели учителя или скорее учительницы в двадцатых годах столетия.

– И где?

– Полости в плитах перекрытия, – сказал Пэрст-Капсула. – Между вторым и третьим этажом нетронутого подъезда. Производственный брак завода панельного домостроения шестьдесят первого года. В других полостях и пустотах не обнаружил ничего существенного. Но возможно и повторное исследование.

– Пока не надо.

Помолчав, Шеврикука сказал:

– Я ввел тебя в заблуждение. Твоих вещей в том доме и не было.

– Вы мне не доверяете?

– Не знаю, – сказал Шеврикука.

– Я один. Меня никто не посылал, – опять в голосе Пэрста-Капсулы была обида, но теперь к ней добавилась и печаль. – Я хотел помочь...

– Я никому не доверяю, – сказал Шеврикука. – Такая нынче жизнь.

– Я один. Мне некуда идти. Я устал. Есть причины. Мне надо отдохнуть. Выспаться. Но не на виду.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – У меня в подъездах найдется место. Пошли.

Порядочных московских чердаков, где можно было бы развешивать белье или держать голубей, в Землескребе не было, но получердачье возле шахт лифтов имелось. Чтобы подбраться к механизмам в случае их поломки или вылезти на плоскую крышу. Бомжей в своих подъездах Шеврикука не поощрял. Но один бомж как-то у него завелся. Вернее, это был не совсем бомж, а законный житель второго этажа, любитель одеколona и аптечных жидкостей, поругавшийся с матерью, с братом и потому решивший произвести себя в бомжи. Мать с братом строптивного укротили, отправили в лечебницу, а в получердачье осталось от него логово с помятой раскладушкой. Лучшего убежища Пэрсту-Капсуле Шеврикука предоставить не мог. Шеврикука сопровождал Пэрста-Капсулу на верхний этаж, по железному трапу они поднялись к дверце, обитой ведерной жостью, усталому духу было показано предлагаемое место жительства. Пэрст-Капсула кивнул, ему и раскладушка с рваным брезентом была хороша. Радость Пэрста-Капсулы отчасти растрогала Шеврикуку, и он даже указал гостю на ком войлока в углу чердака и на драный плащ прежнего бомжа, ими можно было утеплиться. Хотя ночи пока стояли душные. Впрочем, Шеврикука тут же пробормотал как бы в воздух слова о том, что им, наверное, надо будет подумать, где бы сыскать место поудобнее, поспокойнее, а то вдруг выйдут какие-либо затруднения. «Да-да, – согласился Пэрст-Капсула. – Мне бы только отдохнуть дня три...» «Да нет, это я так, – великодушно успокоил его Шеврикука. – Отчего же дня три? Можно и побольше... Торопиться не будем».

«Пусть уж он за мной присматривает, – подумал Шеврикука, – если его прислали с этим...»

А сам он с портфелем Петра Арсеньевича проследовал в квартиру Уткиных.

14

Но Петра ли Арсеньевича добыли ему портфель?

Запахи от портфеля подходили к Петру Арсеньевичу. Но ведь сколько сейчас выведено специальных умельцев, в частности, и по запахам! И все же Шеврикука, осмотрев вещь, посчитал, что портфель, даже если он и направлен к нему со злым или хитрым намерением, подлинный. Портфель хорошей кожи, красно-бурый когда-то, местами и теперь сохранивший первобытный цвет, конечно, потертый и с щелями, был небольшой, потому Шеврикука и подумал, что он – женский. Именно такой новенький портфель носила в двадцать восьмом году учительница школы второй ступени из строения Шеврикуки, сама только что оставившая парту. И теперь Шеврикука вспоминал о той учительнице с приязнью. Но он и насторожился. Вот сейчас он отщелкнет замок, и посыплутся из портфеля пожухлые тетради с контрольными работами двоечников двадцать восьмого года! Отщелкнул. Да, лежали в портфеле бумаги, в частности, и школьные тетради. Но рядом с ними были и кое-какие предметы.

Шеврикука вытряс бумаги и реликвии Петра Арсеньевича на стол. Нервно стал инспектировать их. Его листочки с рисунками и оттисками не обнаружили. «Что я горячусь!» – отругал себя Шеврикука и постановил провести обследование спокойно. И не только спокойно, но и степенно. Будто свои спокойствие и степенность ему следовало кому-то предъявить. Будто этот кто-то должен был теперь увидеть Шеврикуку именно ученым-исследователем в очках или даже с лупой, в своем кабинете либо в академической лаборатории принявшимся изучать, скажем, старообрядческие рукописи, отысканные вблизи Пустоозерска. Или не рукописи, а формулы и записи физико-акустических опытов. Сидел Шеврикука действительно степенно, не ерзал, но сосредоточиться никак не мог, а уже понял, что для серьезного знакомства с бумагами Петра Арсеньевича нужны сосредоточенность и умственное напряжение не на час и не на два. Среди прочих текстов, рисунков-чертежей, будто бы клинописи и, возможно, криптограмм, попадались Шеврикуке и простенькие страницы. Были на них мимолетные соображения Петра Арсеньевича, и были явные выписки из вполне доступных книг или документов. Иные выписки Шеврикуку удивили. То есть не сами выписки, а предполагаемые причины, по каким Петру Арсеньевичу понадобилось годы сохранять их, а возможно, и оберегать. Вот, скажем, советы по поводу кости-невидимки. Следуя этому совету, требовалось: отыскать черную кошку, на которой бы ни единого волоса не было другого цвета, и сварить оную, выбрать все кости, а потом, положив все перед зеркалом, стоять самому и класть каждую кость к себе в рот, смотря в зеркало, когда же та кость попадет, то сам себя в зеркале не увидишь, и с сею-то костью можешь уж ходить куда хочешь и делать что изволишь, будучи никем не видим. Шеврикука озадачился. Первым делом он стал вспоминать, встречались ли в Останкине черные кошки без единого волоса другого цвета. Не встречались. И у кошатника и книжника флейтиста Садовникова не было такой кошки. Да и что-нибудь бывает у нас теперь в чистом виде? Но даже если бы и обнаружилась требуемая кошка и была открыта Петру Арсеньевичу, стал бы он ее варить и, стоя перед зеркалом, класть кости в рот? Не мог себе этого представить Шеврикука. Да и само желание сделаться невидимым и недостижимым (не для людей, конечно, а для своих, для людей-то он и так чаще всего был невидимым) казалось Шеврикуке маловероятным. Все же Шеврикука прислушался и стал чутать, но нигде в Останкине присутствия Петра Арсеньевича не ощутил. Но ведь почему-то старик не выбрасывал из портфеля листочек с простодушным советом. Держал, как держит хозяйка старый рецепт, скажем, из рекомендаций добросердечной Молоховец. Уж и продовольствия того нет, а хранится легенда о раковых шейках, тушеных в белом вине. Или вот не расстался Петр Арсеньевич с выпиской о Перуне и сокрушении

идолов. «Другой же или сей идол, когда тащим был в Днепр и бит палками, испускал тяжкое вздыхание о своем сокрушении... брошенный болван поплыл вниз, а идолопоклонники, не просветившиеся еще Святым писанием, шли за ним по берегу, плакали и кричали: «Выдибай, наш государь, боже, выдибай, – ты хоть выплыви или выдь из реки», и будто бы идол тот, послушав гласа их, вышел на берег, отчего и прозвалось место то Выдубичи, однако бросили его опять с камнем в воду. А новгородский Перун, когда тащили его в Волхов, закричал: «Горе мне, впавшему в руки жестоких и коварных людей, которые вчера почитали меня как бога, а теперь надо мною так ругаются!» – потом, когда бросили его с моста в реку, то плыл вверх и, выбросив на мост палку, вскричал: «Вот что вам, новгородцы, в память мою оставляю!»; сие было причиною, что через долгое время новгородцы имели обыкновение по праздникам, вместо игры и увеселения, биться палками». «Неужели, – подумал Шеврикука, – Петр Арсеньевич перечитывал свои выписки? Неужели его волновали Перун и новгородские любители палочных драк?» – «Прекрати читать! Выкинь! Сожги!» – будто бы ощутил приказ Шеврикука. Были бы перед ним печь или камин и горели бы в них поленья, Шеврикука швырнул бы в огонь бумаги Петра Арсеньевича. Но приказ прозвучал чужой, и в нем было посягательство на его, Шеврикуки, независимость и особосущность. Шеврикука ноги вытянул, принимая для возможных наблюдателей как бы лениво-спокойную и уж точно независимую позу. Да и что уж такого дерзко-опасного или возмутительного в этих ерундовых листочках?

И Шеврикука снова стал просматривать бумаги Петра Арсеньевича. Вот что он в них углядел. Чары на лягушку. Заговор на посадку пчел в улей. Заговор от ужаления козюлькой. Стень. Заговор от скорой dospешки. Чары на лошадь. Чародейская песня солнцевых дев. Соображения о траве прикрьш. О непоколебимости цветущего кочедыжника перед дурной силой. О тенях зданий. О тенях земель и растений, предсказывающих раздоры и худые замыслы. О гаданиях на решетке. О приключениях оборотней. Об онихмантии, или гадании по ногтям. И прочее, прочее... Все это было знакомо и неинтересно. И несерьезно. Главный ли тайник обнаружил Пэрст-Капсула? Или все эти выписки с полезными советами и заговорами Петр Арсеньевич держал для простофиль, полагая ввести их в заблуждение и отвлечь от существенного в нем? Но, может, Шеврикука сам нафантазировал о Петре Арсеньевиче лишнее, а теперь должен был отказаться от ложных представлений и намерений? Потом Шеврикука наткнулся на слова о рыцарстве, якобы интересовавшем Петра Арсеньевича. Правда, сначала пошли записи о воине-звере, который не так уж решительно удалился от оборотня. И о волколаках, о берсерках, то есть о «медвежьих шкурах» или одержимых медведем. Порядочные люди их не слишком жаловали. Однако те были, и, как записал Петр Арсеньевич, их обычаи и образ поведения позже не могли не отразиться в действиях раннего рыцарства. На желтоватом листе фиолетовыми чернилами было записано: «Из одного итальянца (Ф. Кардини)». И ниже: «Мирным и относительно процветающим оседлым народам кочевники представляются людьми жестокими, скрытными, асоциальными, бесчеловечными, у них нет веры, они жертвы мрачных, адских культов. В глазах кочевников оседлые безвольны, изнежены, растленны, крайне сластолюбивы, в общем – недостойны тех благ, которыми они обладают. Поэтому было бы справедливо, чтобы блага эти перешли в руки более сильного». Следовала пометка Петра Арсеньевича: «Мир и благо состоявшихся, благоустроенных, изнеженных манят, но и вызывают презрение... Кочевники-ватага-коммандос». Шеврикука отложил желтоватый листок. А не об останкинских ли духах, не о народившихся ли или нарождающихся персонажах Башни думал Петр Арсеньевич, читая одного итальянца? Несомненно, к людям, а к домовым – тем паче эти самые, с Башни, относились с презрением и наверняка полагали, что всеми приобретениями людей они должны овладеть по необходимости времени и по праву сильного... Шеврикука увидел опять: «Из одного итальянца». «Вотан существовал в окружении дружины – свиты доблестных мужей. Подобно

ему, германские вожди искали достойных товарищей для свиты. Им был свойствен особый образ жизни – странствие, неподчинение установлениям среды, в какой они выросли. Главное в них – амбиция, стремление первенствовать, повелевать, пристрастие к авантюре, жажда богатства, вкус к острым ощущениям. Будничное течение жизни вызывает у них тоску. Судьбу они не признают предначертанной. Будто бы неизбежное можно было перечеркнуть воинской доблестью. Но притом в комитете, дружине, естественной и необходимой была взаимная верность. И взаимность обязанностей. И честность. О дружине князя Игоря сказано: честно – это сражаться и приносить себя в жертву идеалам братства, бесчестно – подражать Каину и поворачивать оружие – против своих. Воинская этика, основанная на братстве, чести, преданности, и вела к тому, что вышло рыцарством». Ну-ну, подумал Шеврикука, экий романтик и созерцатель Петр Арсеньевич, тут тебе и Каин, и германские вожди, и Вотан-Один, и дружина князя Игоря. Или вот: «Варвары и римляне. Духи О. башни и мы. Явление варваров – наказание и назидание? Или – продолжение в новых одеждах?» Это мы, что ли, усмехнулся Шеврикука, римляне? Или люди? Однако мысль об этом, видимо, тяготила Петра Арсеньевича всерьез. «Люди (и мы, естественно, с ними) перед обрушивающимися на них событиями или предзнаменованиями испытывают великий страх. Был великий страх тысячного года. И явились в пору смятений, раздоров, вероломства заступники слабых и напуганных». Все, хватит, сказал себе Шеврикука. А в руках его уже были листочки со стихотворными строками. Зигмунд. Сын его Зигфрид... «Он страшного дракона убил своим мечом. В крови его омылся и весь ороговел. С тех пор, чем ни рази его, он остается цел...»

Зигфрид, Нибелунги. Клад их. Золото Рейна. Чаша Грааля. Король Артур. «Фу ты! – возроптал Шеврикука. – Зачем мне-то теперь все эти Артуры с их круглыми столами, все эти Зигфриды и Нибелунги и их клады! Что я глаза порчу!» Но он чувствовал, что в нем опять шипит чужой приказ: «Не лезь, Шеврикука! Не суйся!» И снова из упрямства (или вздорной блажи?) Шеврикука тетради и листочки сразу не отодвинул, а продолжал перебирать их и наткнулся на карточки из плотной бумаги, какими пользуются посетители общественных читален для особо ценных выписок и соображений. На одной из них были слова: «Принципы комитета, дружины, свиты. Принципы командос, серых волков. И принципы воровской стаи. Они разные? Рыцари и банда. Принципы – близкие. Но часто они – навыворот. Это горько. Горько! Все идеальное может быть навыворот!» На обороте карточки тушью был начертан план какого-то дома и написано: «Малина. 11 проезд Марьиной Рощи. Подпол. Четыре спуска». А Петр Арсеньевич вроде бы служил когда-то в деревянных домах Марьиной Рощи. Ну и что! Ну и служил! Ему-то, Шеврикуке, что за дело! Избавиться следовало от портфеля! Избавиться! И уж ни в коем случае не надо было разгадывать криптограммы, строки крючков и клинописи (рунической, что ли?) и даже запоминать их. Шеврикука суетливо, дерганно принялся запихивать бумаги Петра Арсеньевича в портфель, увидел на обложке одной из них завитки букв: «Собственноручные записки феи Т., в составе мекленбургского посольства посещавшей Московию летом 1673 года. Сокольнический список». Еще и фея Т.! Шеврикука выругался. Только фей ему ныне не хватало! Мекленбургских! Будто опаздывая к самолету, Шеврикука стал швырять в портфель и реликвии Петра Арсеньевича, не вдаваясь в их подробности и не оценивая их, среди прочего чей-то клык, шелковую лиловую ленту (дамы сердца, что ли, марьиноорошинского, сокольнического, останкинского рыцаря?), пучок засушенной травки с цветком зверобоем и цветком львиный зев, четыре карты, четыре замусоленных валета (неужели поигрывал? неужели вообще был игрок?). Зашелкнул замок. Выбросить портфель? Сжечь? Растворить? «Спрятать у Радлугина!» – вышло постановление. Почему у Радлугина? Почему именно у Радлугина, ведь за его квартирой наблюдают? И хорошо, что наблюдают! Сейчас же к Радлугину, сейчас же поместить портфель там!

15

А Гликерия? Что с Гликерией?

Разузнать о ней Шеврикука решил окольным путем. Что не позволяло ему рисковать и лезть на рожон? Благоразумие или трусость? Скорее всего, ни то ни другое. А что, Шеврикука посчитал полезным не называть словами. На лыжную базу Шеврикука проник тихо и кротко, никому не попадаясь на глаза. Ни с Гликерией, ни с Невзорой-Дуняшей не вступал в общение. Но вызнал: никаких чрезвычайных событий в жизни Гликерии не произошло. И смотрины дома на Покровке не отменили.

В калекопункте дежурным знахарем сидел какой-то свежий хмырь, весь в жабых бородавках, желанию Шеврикуки продлить больничный лист навстречу не пошел. Бормотал что-то о транжирах, об экономии, о касторовом масле, которого его могут лишить. А от удара палки резинового призрака в видимой натуре Шеврикуки не осталось следов. Шеврикука проворчал: «Ну и ладно. А с этим хмырем мы еще разберемся!»

Спокойствие вернулось к Шеврикуке. Или даже душевное равновесие. А может, он стал неразумно беспечен. Три дня Шеврикука не поднимался в получердачье и не тревожил утомленного тяготами жизни подселенца. Наблюдая как-то проход по двору Радлугина, Шеврикука увидел на груди воодушевленного активиста, на орденском месте пиджака, большой, с блюдце, пластмассовый кругляш: «Клуб любителей солнечного затмения». Через день надпись на значке Радлугина была уже иная: «Участник солнечного затмения». «Какого такого затмения? – озадачился Шеврикука. – Неужели я пропустил его или проспал?» Опять явились недоумения: отчего он пять дней назад тащил портфель Петра Арсеньевича именно в квартиру Радлугиных? Отчего он так разволновался тогда, будто бумаги из портфеля, засушенные травинки или замусоленные валеты были отравлены и могли заразить его черной или даже погибельной болезнью? Стыдно было теперь Шеврикуке. В квартире Радлугиных он нашел портфель целым и нетронутым. Никаких датчиков вблизи него, ничьих отпечатков пальцев на коже портфеля он не обнаружил. Предмет, как был положен, так и лежал в книжном шкафу в пустоте за томами Мопассана. Собраний сочинений Радлугин выкупил много, но ни сам он, ни его добропочтенная супруга рук к книжному шкафу давно не протягивали. К Мопассану же они и вовсе относились с осуждением. Теперь Шеврикука принялся уверять себя, что бросился к Радлугиным неспроста, а с некой, пусть и смутной мыслью о выгоде укрытия именно за Мопассановой спиной. Пусть, пусть наблюдают за квартирой Радлугиных, вдруг и ему выйдет от этого польза. Пусть все эти марьинорощинские или сокольнические малины из прошлого, все эти Нибелунги, Зигфриды с драконами и феями мирно почидают себе в шкафу, а потом – поглядим. Потом бумага и реликвии Петра Арсеньевича вдруг для чего-нибудь и понадобятся. И эта фея Т., посещавшая Московию в составе посольства в 1673 году (кстати, а что происходило в Москови в 1673 году?), и ее собственноручные записки окажутся не бесполезными.

В воскресный день Радлугин остановил во дворе Шеврикуку и сказал скорее утвердительно, нежели вопрошающе:

– Вы ведь в нашем доме живете. Я нередко встречал вас...

– Ну вроде бы... – без всякой охоты вести разговор ответил Шеврикука.

– И мне кажется, что вы в своем секторе активист.

– Говорить об этом не стоит, – будто намекая на нечто важное, но тайное, сказал Шеврикука.

– Я понял. Я так и думал про вас. Я не ошибся! – обрадовался Радлугин. И добавил уже доверительным шепотом: – Вы, конечно, принимали участие в Затмении?

– В каком затмении? – спросил Шеврикука.

– В Солнечном.

– В каком именно солнечном?

– Ах да... – сообразил нечто Радлугин. – В недавнем. В том, что в Мексике было полным, а у нас частичным.

– Видите ли... – начал Шеврикука многозначительно. – Затмения, солнечные, лунные, наводнения, землетрясения, солнцестояния... Мало ли в чем приходилось участвовать...

– Понял, понял, – заторопился Радлугин. – Все. Молчу. Конечно, в нашем доме жильцов не меньше, чем в районном городе, и вы, наверное, обо мне не слышали... Я – Радлугин.

– Отчего же, – сказал Шеврикука. – Слышал.

– Да? Очень рад. Да... Не все одинаково проявили себя во время Затмения, – сказал Радлугин тоном государственного человека, – не мне вам объяснять. Целесообразно выяснить степень участия каждого из жильцов дома...

– На какой предмет? – не менее государственно поинтересовался Шеврикука.

– Ну... – замялся Радлугин. – Чтобы иметь общую картину...

– Ну это конечно, – одобрил Шеврикука.

– Вот-вот, – удовлетворенно кивнул Радлугин. – Будем распространять опросные листы. Не могли бы вы раздать их в вашем подъезде?

– Нет, – резко сказал Шеврикука. – Не найдется времени. И не для меня это занятие.

– Ага. Понял. Но, может, хотя бы один лист потребуется вам для ознакомления?

– Один, возможно, потребуется.

Пока Радлугин защелкивал «дипломат», Шеврикука просмотрел опросный лист. Увидел среди прочего: «Что вы делали во время Солнечного Затмения? Бодрствовали? Были на посту? Тыкали пальцем в небо? Предавались панике? Пили от недовольства или из вредности? Занимались любовью? Отсиживались в туалете?» И так далее.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Изучим.

– Вы знаете... – Похоже, Радлугин был намерен сделать серьезное заявление, но не отважился.

– Говорите, говорите, – разрешил Шеврикука.

– Мне кажется, в нашем подъезде завелся бомж. Он какой-то странный. С большой головой. И будто робот... наверху. Где кончается шахта лифта. Там вроде чердака.

– Вы туда поднимались?

– Нет, – сказал Радлугин, и было очевидно, что он ощущает себя виноватым перед социальной справедливостью и обязанностями гражданина. – Мне так кажется. У меня такое чувство. Я видел его... Этого, с большой головой... во дворе... Он нюхал жасмин... Он нездешний... Может, мне стоило сообщить в отделение? Или туда?..

– Вашу наблюдательность и чутье оценят, – строго сказал Шеврикука. – Но не надо спешить. Не надо. К тому же у вас, я полагаю, хватит хлопот и с опросными листами. А теперь, извините, я обязан отправиться по делам.

И Шеврикука, не оглядываясь, энергично зашагал к улице Королева. Он понимал, что наблюдательный и чуткий гражданин смотрит ему в спину, но не вытерпел и секунд через пять растворился в воздухе, наверняка вызвав в Радлугине напряжение мыслей. И пусть. И пусть себе Радлугин беспокоится в связи с объявившимся в подъезде бомжем или, может, неопознанным объектом, пусть даже докладывает о нем, куда пожелает или куда привык докладывать. Беспокоиться об этом не следовало, рассудил Шеврикука. Наблюдения или открытия Радлугина ничего не меняли.

Пэрст-Капсула лежал на раскладушке под плащом прежнего обитателя получердачья, дремал.

– Здоровье по-прежнему подорвано? – спросил Шеврикука.

– Это вы? – Пэрст-Капсула поднял голову и опустил ноги с лежанки. – У меня не здоровье. У меня состояние. Энергетическое. И судьба. Их движение теперь – нормальное.

– Ты был замечен во дворе, признан нездешним и вызвал подозрения.

– Дважды выходил из дома, – сказал Пэрст-Капсула. – Озадачил одного человека. Заметил. Более не выходил.

– Что ты делал во время Затмения? – спросил Шеврикука и протянул Отродью опросный лист.

– Я не участвовал в Солнечном Затмении, – печально произнес Пэрст-Капсула.

– Это огорчительно.

– Я участвовал в лунном затмении, – сказал Пэрст-Капсула.

– На самом деле, что ли? – удивился Шеврикука.

– На самом деле.

– За лунные затмения значки пока не дают...

– За них и спасибо не скажут, – серьезно заявил Пэрст-Капсула.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – Что ты собираешься делать дальше?

– Я хочу быть при вас.

– Это кем же? Управляющим, связным, денщиком?

– Меня легко обидеть, – сказал Пэрст-Капсула, – видно, я стою этого. Но меня никто не посылал к вам. А таиться от забывших обо мне на Башне я могу теперь и сам. Я вычеркнут.

«И Петр Арсеньевич вычеркнут», – подумал Шеврикука.

– А может, ты желаешь находиться вблизи двух своих вещей? Не проще было бы заполучить их обратно? Отпала бы нужда укрывать и охранять их.

– Укрывать и охранять их обременительно?

– Терпимо, – сказал Шеврикука.

– Пусть теперь они будут там, где они есть. Я хочу быть не вблизи них, а при вас.

– Зачем?

– Не знаю. Но так нужно. Мне. И я могу пригодиться вам. Обузой вам я не буду. И не создам для вас неловкие и опасные положения.

– Ночуй пока здесь, – сказал Шеврикука.

– Спасибо! – растроганно заявил Пэрст-Капсула. Потом сказал: – Я видел кандидата наук Мельникова. Он из вашего подъезда?

– Есть такой, – сказал Шеврикука. – Ну и что?

– Отчасти я произведение его лаборатории. Отчасти...

Пэрст-Капсула вновь заверил Шеврикуку, что не станет обузой, не будет ему докучать, а являться на глаза Шеврикуке обещал лишь по его велению и вызову. И что он не заскучает. И что у него уже есть остропривлекательное занятие.

А вот Радлугин стал Шеврикуке надоедать. Он караулил его во дворе, терял время, выныривал из-за углов и деревьев и как бы случайно оказывался на пути Шеврикуки. И непременно следовал душевный разговор с намеками. Шеврикука не сразу мог понять, в чем дело, но понял. Дотошный, но осторожно-осмотрительный Радлугин, конечно, навел о нем справки, ничего не узнал и оттого, возможно, вывел о Шеврикуке суждение излишне романтизированное. Наверное, в таком суждении у Радлугина была сейчас и потребность. Дворовые разговоры протекали так, будто Шеврикука был лицом значительным, снабженным какими-то таинственными полномочиями, и намекать-то о которых не следовало по причинам государственным либо даже планетарным, а Радлугин был готов ему угодить или услужить. «Нет, надо от него отвязаться», – думал Шеврикука. И не мог отвязаться. А потребность в Шеврикуке у Радлугина открылась такая. Радлугин пребывал в растерянности, не зная, на кого ему теперь выходить, куда нести сведения. Старые структуры то ли и впрямь были поломаны и унижены, то ли на манер града Китежа опустились на дно озера Светлояр

и до поры до времени обрастали там водорослями. Брошенным кутенком, поскуливая, бродил Радлугин в одиночестве, и вдруг ему померещилось, что Шеврикука – от новых структур. После сомнений, оглядок и изысканий Радлугин и надумал к нему прибиться. Шеврикука не стал его разочаровывать. Впрочем, и не позволил себе врать. Просто при разговорах с Радлугиным полномочия над ним витали и покачивали крыльями. А уж дело Радлугина было пребывать в заблуждениях или нет. Тогда и посетила Шеврикуку мысль использовать Пэрста-Капсулу как «дупло». Длительные разговоры во дворе, дал понять Шеврикука, вряд ли хороши для дела, а вот «дупло»... «Да-да! – согласился Радлугин. – Дубровский, Маша, как же, помню, проходили в школе!» Радлугин все же не удержался и успел сделать устное донесение. Оно касалось останкинских слухов об Анаконде, заведшейся в Ботаническом саду. Конечно, Оранжерея не была близка к их кварталу, но проживающий и в двух километрах отсюда водяной змей мог вызвать в Землескребе смущение умов. Ведь чем-то его кормили, возможно, тратили на него контейнеры или емкости с гуманитарной помощью, и это при голодных обмороках в школах и детских садах. Да, да, заверил Шеврикука, с Анакондой предстоит разобраться, но разбор этот – не в компетенции жителей Землескреба, пусть даже и проявивших себя во время Солнечного Затмения самым героическим образом. Радлугин собирался высказать свое несогласие с мнением Шеврикуки, но попытка его была пресечена. Тут же Радлугин, о чем-то догадавшись, пробормотал: «Ах, да», – и более Оранжерею не упоминал. Сообщил напоследок, не без гордости, что списки участников Солнечного Затмения, как проявивших себя, так и не проявивших, им уже почти составлены, сторонники же лунных затмений выявляются. Шеврикука хотел было спросить, чем же плохи сторонники лунных затмений, но сообразил, что своей неосведомленностью о чем-либо он расстроил бы Радлугина. «Хорошо, – сказал Шеврикука. – Списки, пока лишь одних не проявивших себя, вы опустите в «дупло» в четверг в девятнадцать ноль три у входа в кулинарию ресторана Звездный. Из конспиративных соображений Радлугин быстро оглядел все вокруг и прошептал, в мгновение осипнув: «А где там дупло?» – «Дуплом будет тот самый нездешний бомж с крупной головой. Вы мне о нем докладывали», – сказал Шеврикука. «Ах так?!» – удивился Радлугин и долго стоял во дворе растерянный.

Нездешний бомж, выслушав в получердачье Шеврикуку, сказал: «Я все понял. Я согласен». На ногах духа или полуфабриката Шеврикука увидел фетровые бурки с кожаными каблуками.

– Не жарко? – спросил Шеврикука.

– Ноги мерзнут, – засмутился Пэрст-Капсула.

– Радлугина ты теперь не удручишь, – заметил Шеврикука. – А кого-то можешь и озадачить.

– Разрешите походить в них хоть один день, – чуть ли не взмолился Пэрст-Капсула, будто Шеврикука желал лишить его последних в жизни утешений.

– Ходи хоть в коряжских торбасах из оленьих шкур, – сказал Шеврикука. – Мне-то что.

Да пусть ходит в жару в фетровых бурках, подумал Шеврикука, кого в Москве удивишь прихотями манер и вкусов, если какой дурак и задержит духа, то вскоре и отпустит. И Шеврикука не стал язвить, напоминать о том, какие личности носили в сороковые годы белые бурки, воротники и шапки из серого каракуля, наверное, Бордюков хранит в кладовке бурки, тронутые, несмотря на нафталинную оборону, молью, пусть и Пэрст-Капсула теперь наслаждается... Но отчего у него мерзнут ноги?

– Диана, – подумал Шеврикука, – олицетворяла луну. Кто позволял себе затмевать Диану?

– Это вы к чему? – насторожился Пэрст-Капсула.

– Это я так, – сказал Шеврикука. – Ни к чему.

– Уже без Дианы, в иные времена, – сказал Пэрст-Капсула, – луну заслоняла Дикая Охота, Вилде Ягд. Когда она проносилась по небу, внизу были собаки. И случались зимние бури.

– Дикая Охота? – удивился Шеврикука.

«Дикая Охота. Дикая Охота...» – вспоминал Шеврикука. – Где-то я читал о ней недавно... На одном из листочков Петра Арсеньевича!» «Дикая Охота, сонм призраков и злых духов, небесные гончие псы, зимние бури, гибель людей на перекрестках дорог, свита Одина-Вотана, тени Ирода, Каина, Аттилы, Бонапарта, Дрейка...» Но при чем тут Дрейк?.. Так. А не принесется ли вскоре и к нам Дикая Охота? Или ее осуществители уже здесь?»

– От твоих полетов не были внизу собаки? – спросил Шеврикука.

– Нет, – сказал Пэрст-Капсула серьезно. – Я не летал. И к Дикой Охоте никак не могу быть причастен. Я просто знаю.

– Вас просвещали в лабораториях?

– Это не суть важно, – сказал Пэрст-Капсула.

«Вот, значит, как, – поднял бровь Шеврикука. – Ну и разгуливай дальше в своих бурках...»

– Для меня это и вовсе неважно, – сказал Шеврикука.

Надо было посетить Оранжерею.

Посетил.

Змей-анаконда ему понравился. И Шеврикука понял, что стервец умеет выживать.

Но прежде сообщу, что фетровые бурки Пэрст-Капсула носил еще именно один день. Стало быть, прошение его было осмысленным и обеспеченным свойствами натуры. При новой встрече с Пэрстом-Капсулой Шеврикука увидел духа-полуфабриката в пятнистой шкуре воздушного десантника. Тельняшка на духе, пусть и чистая, отчасти Шеврикуку опечалила. И наглец лимитчик Продольный надевал тельняшку. Впрочем, нынче в Москве в средних слоях расцвела мода на камуфляж. А куртка и брюки достались Пэрсту-Капсуле истинно камуфляжные. Но были и нарушения формы. Пэрст-Капсула приобрел не сапоги, а полусапожки, скорее щегольские, нежели необходимые защитнику Отечества или коммерческого добра. И на голове он утвердил не голубой берет, а ковбойскую шляпу от какого-нибудь неуравновешенного Буффало Джонса, отчего и осведомленному гражданину было бы трудно определить его происхождение и социальный смысл. «А если потребуют документ?» – хотел было спросить Шеврикука. Пэрст-Капсула тут же протянул ему визитную карточку. Бумага на нее пошла ценная. «К. Пэрст, – прочитал Шеврикука. – Эксперт-полуфабрикат. Необходим при катавасиях. Москва. Округ Останкино». «Достаточно?» – спросил Пэрст-Капсула. «Достаточно, – сказал Шеврикука. – А «К.» – это как понимать?» – «Капсула. Или я сделал не то?» – «Нет, все нормально», – успокоил эксперта Шеврикука.

Змей же, действительно подтверждая народную молву, дремал в Оранжерее в водоеме, приятном тем, что в нем в условиях Средне-Русской равнины и континентального климата цвели индийские и египетские лотосы и райские растения виктория-регия. Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, в своих комплиментах амазонскому змею почти не допустил преувеличений. Морду Анаконды Шеврикуке, правда, не пришлось оценить, но метров шесть туловища и хвост он рассмотрел. Чешуя удава была действительно блестящая, гладкая, сверху – оливково-серая, вдоль спины змея тянулись два ряда крупных бурых пятен, заставлявшие думать о кожаных изделиях для флоридских миллионеров. Змей лежал смирно, не тревожил листья лотосов и викторий, стебли дивных папирусов, не возмущал покой декоративной гальки. Никого не раздражал. Сотрудники Оранжереи и ее посетители к присутствию змея в Останкине относились спокойно, полагая, что он и обязан отдыхать в здешнем водоеме. Вот тогда Шеврикука и подумал, что этот стервец выживет и в канализационной трубе. Подумал одобрительно. Чуть ли не с завистью, хотя и сам был умелец

выживать. На всякий случай Шеврикука попытался представить, какие могут отрасти у змея крылья и где. Картина возникла в его воображении занимательная.

Но зачем и как змей завелся в Останкине? Сие оставалось загадкой. Шеврикука желал поговорить с Крейсером Грозным, но тот, выяснилось, уехал в Рязань играть в футбол. К кандидату наук Митеньке Мельникову Шеврикука подойти не отважился. А вот побеседовать с Дударевым стоило – тот и жил в чужом подъезде, и был говорливый. Поймать Дударева во дворе Шеврикуке удалось не сразу. Но удалось. Дударев весь был в хлопотах, в бегах, в порывах, в полетах. И теперь он неся куда-то, а в глазах его полыхала безумная деловая идея. «А? Что? – Дударев не мог понять, о чем его спрашивал Шеврикука. – Ах, этот змей. Анаконда? Ну есть такой. Есть! Произвели! Да, в лаборатории. Явили на свет. Пусть пока подрыхнет среди лотосов и папирусов. Потом пойдет в дело. Не обязательно в консервы и на деликатесы. Не обязательно. Может, отыщется для него предназначение и поважнее. И я уж догадываюсь какое. Змей Анаконда – это ерунда! Митенька Мельников – талант и гений, Эдиссон с Яблочковым, да что там Эдиссон с Яблочковым, какие при них были свет и звук? Тьма и глушь! И Митенька согласился вступить в наше дело. Но тише, тише об этом! Кстати, Игорь Константинович, я ведь не забыл и про циклевку полов, и про сорок третий морской узел, и про то, что вы многое умеете... Да-да! Я вам тогда обещал пятьсот пятьдесят рублей. Но эта сумма сегодня, согласитесь, смешная и неуважительная. И мы можем платить больше. А потому милости просим к нам!» Шеврикука был уже не рад, что остановил бывшего экономиста бывшего Департамента Шмелей. Впрочем, от шмелей и от других перепончатокрылых в Дудареве, красавце с коварными, тонко-черными усами прежде графа Люксембурга, а ныне московского коммерсанта-обольстителя, нечто, несомненно, осталось. Он по-прежнему был устремленно-летучий и помнил, где и до каких пор его ждал взятки. Скорее, и не один. «У меня есть служебное место», – вяло произнес Шеврикука. «Сегодня одним местом не проживешь, – наставительно сказал Дударев. – Три таких места приложения сил кое-как накормят, а с четвертого накопишь на штаны. Взамен протертых. Нам скоро потребуется паркетчик. Есть идея насчет одного дома на Покровке. Через неделю – смотрины». И был назван адрес дома на Покровке. К нему судьбой была приписана Гликерия. «Хорошо. Я подумаю», – сказал Шеврикука. «С больничного-то вы съехали?» – спросил Дударев. «Да, больничный мне закрыли». «Ну и славно! – Дударев обрадовался, будто неделями раньше оставил Игоря Константиновича в реанимации, а теперь, разговаривая с ним, обнаружил ходячим, на что и не рассчитывал. – Нынче, как на войне, нельзя быть ни больным, ни раненым. И уж тем более притушенным!» Никаких поводов спорить у Шеврикуки не возникло. Летучий Дударев словно бы ни на секунду не прекращал движения, турбины в нем ревели, горящие табло требовали не курить и пристегнуть ремни. Впрочем, наблюдатель, увлекающийся, скажем, хореографией, мог посчитать, что молодой человек с коварно-крутыми усами венской манеры намерен вот-вот пуститься в пляс. А может, динамике его житейских предприятий были необходимы для разгона ритмические открытия стиля степ. Или стиля рэп. «И Бордюков со Свержовым уже при деле?» – из вежливости спросил Шеврикука. «Да! И Бордюков, и Свержов! Все при деле! И Совокупеева с Леночкой Клементьевой! Все при деле! При разных делах! И Крейсер Грозный от нас не отстанет! Нет! – Тут Дударев на мгновение задумался. – А Бордюков при этом записался и в монархический комитет, будет раздавать титулы графьев, баронов и виконтов», – проговорил он медленно, будто бы оценивая нечто заново. Но сразу же воодушевился и улетел.

Во дворе Шеврикука встречал Митю Мельникова. Деликатного сложения блондин, гений и кудесник, проходил мимо, ничего не замечая, вид имел изнуренный.

Пэрст-Капсула уже несколько раз таинственно пробирался к ресторану «Звездный», на Цандера, имея целью секретные встречи с агентом Радлугиным. В одном из донесений Радлугин сообщил, что его стараниям провести Всемирные новоостанкинские игры чинятся

препятствия и здесь несомненны происки. Он, Радлугин, выступил с идеей устроить Игры хотя бы и на стадионе в парке (рядом с лыжной базой, отметил Шеврикука). Надо было только громко окликнуть всех прописанных когда-то в Землескребе, а ныне оказавшихся в самых разнообразных концах света, и призвать их на Игры. И тех, кто отбыл в командировку. И тех, кто поплыл в гости. И тех, кто вовсе и напрочь отказался от останкинской прописки. Даже и таких поганцев по причине милосердия Радлугин был готов пригласить вдохнуть дымы отечества. Да, даже и таких. Конечно, следовало подвигнуть к спортивным достижениям и теперешних жителей дома. Ведь все когда-то прыгали, бегали, ныряли, метали гранату, сознательно доказывая свою готовность к труду и обороне. К традиционным видам спорта разумно было бы прибавить, дабы продемонстрировать миру плоды самобытности и увлечь человечество, виды спорта местные, такие, скажем, как лазание на обтесанный столб за яловыми сапогами и петухом или скакание в мешках с завязанными глазами. Естественно, требовалось сочинить для всех подъездов патриотические гимны, их и исполнять при вздымании флага, для каждого подъезда, понятно, особенного. Не пугала Радлугина необходимость строить вокруг Землескреба гостиницы и умеренные увеселительные заведения. И вот на тебе! Разумная и льготновыгодная идея столкнулась с удручающим безразличием жителей, их желудочным (или животным) эгоизмом. И с откровенными, но безобразными кознями. Кто именно строил козни, Радлугин не сообщал. А в новых донесениях о Всемирных играх он словно бы и забыл. Возможно, Радлугина вновь увлекли дела, связанные с затмениями, их участниками и их недоброжелателями, злонамеренными или заблудшими. О некоторых злыднях он ставил Шеврикуку в известность. Слова Радлугин выводил аккуратно, фразы не комкал. Но последнее его донесение вышло взлохмаченно-нервным. «Буянят. Четвертый этаж пятнад. подъезда грозит объявить бойкот Всемирным играм. Требуют дать этажу гимн, флаг, талоны на сало. Мародеры. Дебаты – создавать, не создавать партию др. Солнечного Затмения (ПДСЗ-десезистов) зашли в тупик. Одинокая ст. преподаватель Легостаева Нина Денисовна (самоназвание – Дениза) забеременела. Утверждает – от Зевса. Наблюдатель».

«Не рано ли от Зевса-то?» – подумал Шеврикука. Впрочем, что Зевсу были медицинские сроки?

16

Очень скоро Шеврикука увидел во дворе Дударева опечаленным. Да что опечаленным! Разгромленным, уверил Дударев, разгромленным! Джинсовая рубашка его была помята и чуть ли не истерзана, а замечательные усы показывали без десяти пять (дня ли, ночи ли – не имело значения). Правый ус Дударева, будто выражая недоумение, вздернулся к глазу, левый же свис сникшим в безветрие стягом. И не в джинсовой рубашке, вспомнил Шеврикука, ходил Дударев даже и в жару, а во внушающей доверие темной тройке просвещенного и удачливого предпринимателя рябушинско-морозовской традиции.

– Разгромили! – взревел Дударев. – Обокрали!

– Вас?

– Да что меня! Что у меня красть и громить! Митино взяли! Митино!

– Когда? – искренне обеспокоился Шеврикука. – Впервые услышал, что квартиру Мельникова ограбили и разгромили. – Я-то должен был бы...

– При чем тут квартира! – вскричал Дударев. – Что у него дома брать? Лабораторию! Лабораторию!

Сразу же Дударев сообразил, что говорит лишнее. Да и не говорит, а орет.

– Впрочем, вам я могу доверять, – зашептал он, почти вплотную приблизившись к Шеврикуке. – Вы же с нами? Ведь вы, Игорь Константинович, согласились вести паркетные работы...

– Да, – кивнул Шеврикука. – Я обещал быть полотчиком. Если тот дом на Покровке...

– Ну вот! Ну вот! Стало быть, все это касается и вас!

Ощувив в Шеврикуке доброжелательного собеседника или даже родственную натуру, Дударев выпалил множество слов, порой и не заботясь вовсе, чтобы слова эти выстраивались в логические ряды, и не утруждая себя интересом к тому, как относится к ним паркетчик Игорь Константинович, понимает ли его, слушает ли вообще.

– Да! Да! Сплошные тризны! Все рушится и гибнет! Хаос! Разлад! Разброд! Дни, достойные глумлений и плясок на тризнах! Затмение мозгов и совестей! Агония! Говорят: не агония, а роды чудесного дитяти! Родовые схватки! Не вижу! Не вижу! Вижу пока агонию. И всюду игроки! Мы жертвы их бесстыжих амбиций. Земли, хребты, острова, перешейки, моря тасуются в их игре. Жулье и разбойники! Варвары! Напор варваров – наказание и назидание! (Шеврикука удивился. Схожие слова он видел в бумагах Петра Арсеньевича. С чего бы вдруг случилось совпадение?) Но что толку от таких назиданий? Что значит в хаосе и абсурде каждый поступок? Мой? Ваш? Пусть и самый благонаправленный. Он втягивается в хаос и абсурд и сам становится хаосом и абсурдом. Любая благонаправленность теперь зло! И глупость! О боги! Всеобщая околесица и жуть...

– Но народ не унывает, – возник откуда-то Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный.

– Не говори чушь, – осадил его Дударев. – Лучше ври.

– Никогда не вру. Нигде и ни при каких обстоятельствах, – обиделся Крейсер Грозный. – Игорь Константинович не даст соврать. Но если ты так обо мне понимаешь, то я и стоять здесь не буду, пойду, куда шел.

И привел в исполнение свою угрозу.

– Да, разгромили и ограбили! – опять воскликнул Дударев.

– Кто?

– Невидимые силы. А может, и самые видимые. Но мы не оставим их в покое! – решительно сказал Дударев. – Свое вернем.

Объявив себя личностью, досадно неосведомленной, отставшей от технических достижений Департамента Шмелей, никогда не имевшей доступа ни первой, ни второй, ни двадцатой степени откровенности к секретным исканиям, а потому в чем-то обделенной судьбою, Шеврикука вынудил Дударева разъяснить профану, какие такие ценности были разгромлены и разграблены. Ну не совсем разъяснить, а допустить малые намеки. «Вам, наверное, и не дано понять все, – предупредил Дударев. – Да оно вам и не нужно». Но, похоже, и Дударев, будучи экономистом, а не птенцом гнезда Вернадского, не все понимал, а знал лишь о чем-то из чужих упрощений. Вот мираж, начал Дударев. Ничего нету и что-то есть. Нет в пустыне колодца, пальмы и хижины под ней. И есть колодец, есть пальма и есть хижина. И даже облако приплыло, из него вот-вот польется вода. Грезы или мольбы жаждущего путника, скажете, состояние воздуха и игра света. И ни капли влаги. Пусть так. Но примем и это во внимание. Есть много в мире не рожденного, а потому как бы и не существующего. Но не рождаются часто и дети, а они были зачаты и уже беспокоили мать. Каша варится в голове человека, борение чувств и соображений, но они не существуют для людей вокруг, если они не выражены словами, пусть судорожными и неточными. А сны? А муки, страсти, поскребы и почесы подсознания? А видения ложной памяти? Кстати, такой уж и ложной? В воздухе, не в том, понятно, что состоит из кислорода, азота и прочего, а в воздухе жизни, возьмем Останкина и нашего двора, то и дело сотворяется, возникает нечто, несомненно влияющее хотя бы на движения душ жителей. Но это нечто не пощупаешь, по нему не ударишь молотком, от него не отхлебнешь ложкой. Однако энергия этого нечто, назовем – энергия, ошутима. И разве нельзя воплотить ее в некую реальность с видимыми границами и обликом? Отчего же нельзя? Отчего же нельзя-то! Можно! И не зря же отпускают в жизнь редких людей, один из которых квартирует с нами в Землескребе с паспортным клеймом Дмитрия Мельникова. Отпускают. Или опускают.

– И проблемами энергетического развития судеб занимался Мельников? – спросил Шеврикука. – Трансбиологическими?

– И этим! И этим! – уже торопясь, уже будто взлетая, проговорил Дударев. – А вы откуда знаете?

– Так... Слышал...

Так вот, продолжил Дударев, вранье Крейсера Грозного, хотя бы и про анаконду, – это ведь тоже извержение энергии. И не один Крейсер Грозный извергает. И воображение каждого из его слушателей создает энергию. Опять же условно – энергию. Или вот. Откуда музыка? Откуда берется музыка? Никогда на свете не было Шестой симфонии, и вдруг она есть. Жила – не жила Даная, никто не знает, а Рембрандт взял и явил ее публике. Из ничего? Как же из ничего! Из чего! Именно из чего! И она есть. Пусть даже литовский сумасшедший хотел ее извести, она все равно есть. (Даная Легостаевой тоже есть, и она зачала от Зевса.) А если Петр Ильич сотворил Шестую, Бах Иоганн Себастьян – Бранденбургский концерт, то почему же мы не можем произвести какую-то съемную амазонскую Анаконду? Анаконда – это шутка, чепуха, блажь! Детская полька по сравнению с Шестой симфонией. Собачий вальс! Эксперимент между делом.

– А не хотели произвести змея с крыльями? – не удержался Шеврикука.

– Откуда знаете? – удивился Дударев. – Хотели! С двумя, с четырьмя, с шестью. Кто-то предлагал – с тремя. С одним на хвосте.

– И чтобы дышал огнем?

– Да! И чтобы дышал огнем. Не обязательно огнем. Расплавленным чугуном. Но отменили. До поры до времени. Никогда не поздно оснастить. И огнем, и крыльями. Что я говорю! Что я несу! Не поздно. Как же! Разгромлены и обкрадены!

– Все же кем? – опять не удержался Шеврикука.

– Кабы знать точно – кем.

– Оттуда не могли? – Шеврикука посмотрел в сторону Башни. Из-за Землескреба Башню не было видно. Но все знали, где она. И все чувствовали ее.

– При чем тут Башня? – спросил Дударев. – Зачем мы Башне? Вы что – мне подсказываете?

– Нет, – сказал Шеврикука. – Я просто так.

А Дударев задумался.

При том хаосе, при том разброде, при том дурном, но звенящем похмелье, что сопровождали кончине Департамента Шмелей, лаборатория Митеньки Мельникова оказалась не нужна никому, кроме, конечно, предприимчивых и дальновидных людей, задумавших дело. К этим людям, естественно, относился он, Дударев. Не в последнюю очередь. Не в последнюю. Надо было сразу все оборудование забирать и размещать в хорошем месте. Но проспали растяпы, упустили время, понадеялись на добродушное расположение звезд и планет. Вот и получили! По делам, по растяпству и получили. Лишились тонн двух с половиной всяких мыслящих и колдующих устройств, не будем называть каких. А сколько ценного раскурочено негодьями и невежами. Ну взяли бы червячный компрессор, коли он им нужен, и унесли. Так нет, курочили и курочили. Но головы Митеньки Мельникова у них все равно нет и не будет. И делу замечательному не конец. Не конец! Пусть на это никто и не надеется!

– Но что вы имеете в виду насчет Башни? – спросил Дударев. – Что вы знаете? Или слышали?

– Я ничего не знаю, – сказал Шеврикука. – Я ничего не слышал.

– Нет-нет, не лукавьте! Вы о чем-то осведомлены. Вот вы и о проблемах энергетических развитий судеб от кого-то узнали.

– Может, и от вас, – сказал Шеврикука.

– От меня? – удивился Дударев. – С чего бы вдруг? Если только от этого оболтуса Крейсера Грозного. И я его еще оформил ночным сторожем! Хорош караульщик! Ему бы ходить с колотушкой и берданкой вокруг объекта, а он неизвестно где. Выгоним в шею! Выставим.

И снова мимо них прошагал куда-то Крейсер Грозный.

– Вон он! Негодяй! Ночной сторож! Выгоним! Выставим! Без выходного пособия!

– Куда вы без меня денетесь, – остановился Крейсер Грозный. – Ну ходил бы я ночью с берданкой и колотушкой. Что бы изменилось? Тем более что я приставлен к другому объекту. И тем более что в лабораторию вторглись днем.

– Ну днем! И что из этого? – не мог успокоиться Дударев. – Все равно выгоним и выставим! Будешь, как Свержов, торговать у Малого театра египетскими бульонными кубиками. Анаконду не прокормишь!

– Прокормлю, – сказал Крейсер Грозный. – Если попросит, прокормлю. Но пока не просит.

И он опять удалился.

– Ничего. Урезоним. Не пропадем. Все образуется, – самому себе, утихая, сказал Дударев. – Нас ограбили, но помешать нам не смогут. Уныние нам противопоказано. Действие началось.

И Дударев успокоился. Усы его перестали показывать без десяти пять, вернулись в надлежащие места и даже распушились. Можно было предположить, что джинсовый наряд через полчаса будет сменен на тройку просвещенного предпринимателя и Дударев вернется к делу.

Интерес поманил Шеврикуку в квартиру кандидата наук Мельникова.

Митенька, руки раскинув, плыл куда-то под потолком в гимнастических кольцах, пленником их неделями назад был заблудившийся Бордюков. Глаза Митенька закрыл, но видно, что не спал. Может, грезил о чем-то. Или грустил. Или обдумывал нечто таинственное, но

научное. Порой он покачивался в подпотолочье. Или в поднебесье. Но редко. Полет его был тих и плавен.

Шеврикука не стал ему мешать.

17

Смотрины дома на Покровке устроили не через неделю, как обещал Дударев, а через две, в новолуние.

Происходили и смотрины дома, и смотрины претендентов, имеющих к дому интерес. Распорядители смотрин, в команде которых суетился Дударев, именовали их «женихами». Чтобы не вызывать недоумений и вопросов Дударева, Шеврикука был вынужден принять вид бытового насекомого, на этот раз – рыжевато-голубого таракана с усами. Вечером один из гостей, или «женихов», по всей вероятности, латиноамериканец, проявив бестактность, указал в сторону Шеврикуки пальцем, чего нельзя было ожидать от латиноамериканца, и произнес с одобрением: «О-о! Кукарача!» Шеврикука скрылся в щелях, каких было много в памятнике архитектуры, бормоча нелестные слова и в адрес Дударева, и в адрес латиноамериканца.

В числе вечерних претендентов явились японцы, южный кореец, упомянутый уже латиноамериканец, два то ли датчанина, то ли исландца, были, конечно, и свои местные московские дельцы, и люди кавказской внешности, и один туркестанец из Андижана. Устроители смотрин выглядели людьми деликатными, европейски образованными, но гордыми, хотя при этом они давали понять, что гордость гордостью, а карманы у них обременительно пустые, а в домах, возможно, хнычут голодные дети.

С показом здания возникали сложности. Оно было явно запущено. К тому же, как известно, часть его занимали коммунальные квартиры с мятежными жильцами, не желающими убывать в Бутово, а часть, в правом крыле, пока даже и не обследовалась реставраторами. Там и лампочки не горели. Однако намечалось романтическое посещение темных комнат и подклетов со свечами в руках.

Столы предстояло накрыть на втором этаже в овальной гостиной. И хотя сюжеты смотрин не были объявлены претендентам с намерением удивить их по ходу дел, в воздухе витало, а кем-то и произносилось: «На уровне Екатерины». Какой Екатерины, Шеврикука догадывался, но что за уровень имелся в виду, представить он не мог. Лишь когда кем-то было шепотом уточнено: «На уровне Екатерины в Кускове», нечто для него приоткрылось. Но в Кускове гостей поили и кормили в Гроте, да и дом на Покровке никакого отношения к графу Петру Борисовичу Шереметеву не имел. И вряд ли во всей Москве нашлись бы теперь знатоки церемониала, какие не вызвали бы нареканий и усмешек в записях камер-фурьерского журнала. И на стол небось, предположил Шеврикука, поставят французский коньяк «Наполеон» из варшавского крыжовника.

Но ведь ложными коньяками могли оказаться и все сегодняшние «женихи». Сколько ловцов, обманщиков и прохиндеев с намерениями приносятся нынче в Москву. Где и свой жулик на жулике.

Шеврикуке стало жалко Гликерию.

Хотя ее-то что было жалеть?

Овальный зал днем не открывали, не всем предстояло быть допущенным к кувертам. Хотя всех приветствовали равноуважаемо и равнодушно. Дневные гости поднимались на второй господский этаж парадной лестницей с двух разводах, с некогда мраморными ступенями. Нынче неизвестно какими, в лучшем случае – кирпичными, замазанными чем-то серым, коммунохозовская ковровая дорожка милосердно прикрывала их. Гости направлялись в аванзал с дорическими колоннами и розовыми амурами в ампирином небе. Тут было что пить и чем закусывать. И тут хозяйничал громкий расторопный Дударев. Казалось, он забыл об агониях, хаосе, всеобщей околесице и разброде. Казалось, он уже не помнил и о разгромленной, обобранной лаборатории Митеньки Мельникова, будто ей купон цена. Ну

три. Сегодняшний Дударев с упоением руководил движением гостей к подносам-самобранкам и заманным коммерческим проспектам.

Гости же, естественно, имели при себе необходимые в наши дни вместилища, кто кейсы, кто портфели, кто сумки, кто саквояжи, а кто и канистры. Как известно, канистры уместны на приемах у итальянцев и французов. У итальянцев бьют винные фонтаны, у французов же льются духи и одеколоны. Но и на Покровке канистры не оказались вовсе бесполезными. В них можно было слить пепси, минеральные воды, пиво из жестянок, да все, что текло и булькало. Даже и соусы, если бы их подали. Но вот сливать в канистры водку и коньяк многие стеснялись. Неловкость некая возникала. Впрочем, несколько лет назад уносить что-либо с приемов или приводить туда непрошенных дармоедов – мужей, племянников, любовниц, автомобильных механиков – тоже представлялось дурным тоном. Нынче нравы стали проще. Нынче могли не понять тех, кто, завладев пригласительным билетом на прием, презентацию, брифинг, саммит, чтение ноты протеста, не урвал бы что-нибудь. Один гражданин приобрел теперь в аванзал с саквояжем времен сражений на сопках Маньчжурии, пасть у того раскрылась пеликанья. Гражданин был останкинский, вязал гамаки по-ямайски, и в связи с чем его позвали на Покровку, Шеврикуке оставалось лишь гадать. Бутылку крымского хереса, крепкого, сухого, гражданин опустил в саквояж вежливо, туда же направил коробку, нагруженную корзиночками с печеным паштетом. Как бы спохватившись, он пробормотал расстроено: «Куда же столько! Надо и совесть знать!» И одну корзиночку вернул на стол. А внимание его привлекли жульены из шампиньонов, и те сейчас же отправились в саквояж. «Неловко-то как, – пробормотал вязальщик ямайских гамаков. – Не надо бы все это...» Но тут же, влекомый лишь запахом, он прихватил и еще две горячие регенсбургские колбаски. Дударев все видел, но проявлял себя хлебосольным московским хозяином, миллионщиком, отчасти чудаковатым. Лишь порой губы Дударева все же растягивались в брезгливо-высокомерной усмешке. Тогда взгляды иных гостей (не совестливого вязальщика гамаков, не его) Дудареву подобающе отвечали: «А сам-то небось через день явишься с авоськой к нам на прием, так что помалкивай, селезень!» Но однажды Дударев насторожился. Подозрения его вызвал молодой человек, вбежавший в аванзал с очевидной боевой мыслью в глазах. Тяжелые ботинки его громыхали, за спиной у него был рюкзак, а в руке – альпеншток. «Рюкзак-то, понятно, для посуды и канделябров, – сообразил Дударев. – А альпеншток-то зачем? Неужели будет сдирать плафон с потолка?» Но Дударев быстро успокоился, молодой человек влетел не в тот дом, он спешил на собрание-разборку скалолазов в Сверчков переулок, туда же, получив разъяснения, и помчался. Да и новый московский стиль хождения в гости хозяйской утвари пока не касался. К тому же в аванзале находились и соблюдающие этикет, чрезвычайно благосклонные и элегантные, розовощекие блондины, каждый – под два метра, и были они, если судить по их выправке и особенностям физиономий, модными сейчас выпускниками Института физкультуры. Может, этим соблюдающим, предположил Шеврикука, передалось нечто от натуры графа Алексея Кирилловича Разумовского, чей дворец на Гороховом поле и занимал институт. А Разумовские все, как отмечала Екатерина Великая, были крупны, хороши собой, оригинального ума и очень приятны в обращении. Куда уж тут скалолазу с его рюкзаком и альпенштоком!

Но что это я все о приобретениях гостей? Тем более что их добыча уже была размещена где надо, а сами же они с бокалами шампанского приступили к светским разговорам либо рассматривали стенды с фотографиями, чертежами, планами реставрации памятника истории и культуры. Или даже внимали архитектору, стоявшему с указкой у стендов. Слышалось: «Уже в семнадцатом веке в усадьбе были каменные здания, включенные затем в ее главный дом и северный флигель. Древнейшей частью главного дома является белокаменный объем рубежа шестнадцатого – семнадцатого столетий, находящийся теперь целиком ниже уровня земли...» «О! – обрадовался гость с кофром на плече. – Ниже земли! Это для привидений!»

«Привидений? – растерялся архитектор. – Я не по привидениям. Привидений вообще нет. Я продолжу...» И последовали слова о дальнейших перестройках здания, в частности, для новых его владельцев Тутомлиных, о барокко, рококо и о том, что, в конце концов, главный дом усадьбы занял особое место в ряду московских жилых домов эпохи зрелого классицизма. «Что же, при зрелом, что ли, классицизме не бывает привидений?» – возмутился гость с кофром. «Фасады были гладко оштукатурены, – не дал себя сбить архитектор, – получили белокаменные тяги и карниз, а между ризалитами протянулся балкон на невысоких, широко расставленных консолях. Строгая простота отличает и внутренний облик дома. Парадная анфилада второго этажа, мы сейчас здесь и находимся, состоит из немногих помещений – зал с аванзалом, гостиная, спальня и кабинет, – но замечательна по своим монументальным масштабам. Гостиная – самое крупное помещение дома...» «В гостиную нас не пустят. Туда мы не приглашены...» – вздохнули в аванзале. «Это как же! – теперь уже вскричал гость с кофром. – Ризалиты здесь есть, белокаменные тяги есть, а привидений нет! Что вы нам головы морочите! Зачем вы нас заманивали?»

– Вас никто не заманивал, – сказал Дударев. – А привидение будет. Будет.

Шеврикука удивился. Дударев мог ответить уклончиво: мол, всякое случается, мол, речь идет о столетиях, вдруг что-нибудь отсырело, или заплесневело, или впало в спячку и кто вправе давать какие-либо гарантии? Но заверение Дударева прозвучало нагло-категорично. Будет, и все. Это Шеврикуку насторожило.

– Да. Будет, – сказал Дударев. – Но не сейчас. И не для всех. Сегодня не для всех. Увы, не мы избирали претендентов, они избирали нас. Однако я не понимаю, отчего вас так волнует привидение. Привидение, оно и есть привидение. Не более того. Мы ведь приглашали вас познакомиться с историческими и архитектурными ценностями дворца. Их множество. И я просто не понимаю...

Похоже, недоумение Дударева было искренним.

– Ведь столько здесь всего представлено на стендах... Одна история балбеса и пятиметра Панкратия Тутомлина чего стоит! И как главнокомандующий Москвы граф Гудович снял с него очки! – Видимо, судьба вертопраха Панкратия была чем-то особенно дорога Дудареву. Но тут же Дударев и спохватился: – Уважаемые гости. Прошу извинения. Я здесь не главный и в деле новый, возможно, растерялся и кого-то обидел. Это непростительно. Приглашения всем вам были посланы с почтением и надеждой, что наши усилия будут интересны представителям самых разных слоев московского населения. Вечером же здесь произойдет деловой саммит претендентов. Возможно, ни один из них город не устроит. А к вам со словом обратится наш замечательный полпрефект гражданин Кубаринов. Прошу вернуться к подносам и столам.

Слово к представителям населения полпрефекта Кубаринова Шеврикука не был намерен слушать. Этот полпрефект (или – полпрефекта?) три года назад служил профсоюзным оратором в Департаменте Шмелей. Не потому ли и Дударев оказался у него нынче в распоряжении? Нужду или охоту устроить дневной сбор гостей дома на Покровке Шеврикука объяснил себе новым московским обычаем, подчинением неизбежности текущего времени. Приглашали людей гласных. Среди них были и хроникеры, и недорогие брокеры, и товароведы ювелирных магазинов, и музейные работники, и коммивояжеры резиновых фабрик, и бензозаправщики, и небастующие склифосовские, и гомеопаты, и одна врачевательница квартирных пум, и два картежника – всех не перечислишь. Кого хотели, того и приглашали. Главное, чтобы эти люди ушли сытыми, благодушными, не только гласными, но согласными, и разнесли в своей среде и по городу мнение о том, что на Покровке (в нашем случае – на Покровке) все происходит благородно, красиво, по правилам и все – на пользу столице и Отечеству.

А Шеврикука решил побродить по дому. Не забывал, что в своих путешествиях и исследованиях должен иметь в виду и здешнего домового. Вряд ли тому были бы приятны прогулки в подведомственных пространствах чужака. Кое-что об этом домовом Шеврикука знал. Пребывал тот на одном московском месте чуть ли не семь столетий, переселялся из бревен в камни, менялись его хозяева и имена, в последние два века его звали Пелагеичем. Якобы уже при императоре Павле он был дряхл, рассыпчат и грелся в чулке кухарки Пелагеи. Сейчас-то он вовсе мог полеживать где-нибудь засохшей и глухонемой закорючкой. Мог, конечно, и принять вид неживой закорючки на время московских перемен и невзгод. Догадался о сроках и замер. К тому же Пелагеич боялся или даже уважал Гликерию, в ее присутственные вечера и ночи был смирный и неслышный. Или хныкал в углу просителем. А если верить преданиям, прежде он слыл домовым вредным, наглым, многих конфузил, многих доводил до икоты, многим портил существование или хотя бы аппетит. Сегодня же Шеврикука не ощутил ни засад Пелагеича, ни его интересов, ни даже запаха его дыхания. А был осторожен и чуток.

Пошел он бродить именно от нечего делать, а закончил путешествие взволнованным. Экие таинственные заброшенности он разглядел. А может, и разгадал. «Ну и дом! – твердил про себя Шеврикука. – Ну и дом! И каково в нем Гликерии!» А ведь, казалось бы, он об обстоятельствах судьбы Гликерии и ее истории знал все. Нет... Не останкинская ли жизнь притупила его память и любопытство? В Останкине строения – грудные младенцы, они еще ничего не ведают о прошлом и не предчувствуют будущее. В них уместны домовые Продолжные. А он-то, Шеврикука, что разволновался сегодня? Или и впрямь забыл, что и в Белом городе, и в Земляном, да кое-где и за их валами, на Басманных, например, сотни зданий пронизаны веками и сами пронизали века, сберегают в себе не только древние камни, но и все приобретенное в столетиях, дурное и светлое. Сколько в них тайн, сколько сохраненной энергии, сколько пророчеств! «Что это я! – удивился себе Шеврикука. – Тайны! Энергии! Пророчества! Какая патетика! Какой пафос!» Несчастный Петр Арсеньевич и тот был сдержаннее в высказываниях. Пригодятся ли ему сегодняшние открытия или нет, Шеврикука еще не знал. И стоит ли ему вообще помнить о них? Нет, помнить, видимо, стоило, как и стоило помалкивать о своих нечаянных исследовательских прогулках. «Нет, надо вернуться! – кто-то будто приказывал ему. – Там еще остались замурованные ходы. И заколоченные двери!»

18

Затрубил охотничий рог.

«Женихов» – претендентов приглашали в гостиную.

Но отчего выбрали охотничий рог? «Их дело, – сказал себе Шеврикука. – Рог и рог». Уговорив себя не раздражаться и не ехидничать по поводу несовершенства церемонии, тем более что никто не поручал ему вести камер-фурьерский журнал, да и где теперь дремлют камер-фурьерские журналы, в каких архивах, Шеврикука отправился в гостиную Тутомлиных. Тут ему стало обидно за Москву. Отчасти – за Гликерию. «Декорации и бутафория, – заключил он. – С кем связался Дударев? Со скрягами или с обездоленными?» Суждение это, отнюдь не бесспорное, было вызвано прежде всего четырьмя панно, на которые, правда, не пожалели ни холстов, ни красок. Высокие и протяженные панно, приставленные к стенам гостиной, должны были, по всей вероятности, без слов воздействовать на чувства и воображение претендентов. Конечно, не таким был дом Тутомлиных до лета семнадцатого года. Да, нынче в доме запустение. Но не разруха. Здесь гордая нищета, но и надежды благородных стен. Панно же столичных художников, чья цена уже определена аукционом «Сотби» в тысячах фунтов стерлингов, должны показать, что на Покровке было и что несомненно будет. «Вот дом Тутомлиных во всей его красе после перестройки учеником Матвея Казакова в конце восемнадцатого столетия, – разъярял Дударев. – А это вид на Покровку с нашим домом и чудом нарышкинского барокко, незабвенной церковью Успения в легком прогибе улицы. А это – интерьер нашей с вами гостиной в пору процветания Тутомлиных. Мраморы, позолота, хрустали, уральские камни, фигурный паркет из Италии, прекрасные потолки, верхние окна, все, все должно возродиться. При счастливых обстоятельствах. А это – один из здешних дворцов, он – там, за углом Армянского переулочка...» Надо сказать, что четвертое панно было представлено Дударевым сдержанно, с заметной потерей энергии в голосе и даже с долей смущения. «А что за пухлый мужичок в очках у дома за углом? – поинтересовался бестактный латиноамериканец, естественно коверкая туземные слова. – Это граф Тутомлин?» «Как же! – подумал Шеврикука. – В лучшем случае это Козьма Прутков. А так, может, и купец Иголкин». Действительно, на четвертом панно перед дворцом скромно, даже просительно стоял мужчина в очках. «Это Тютчев, – сказал Дударев. – Это поэт Тютчев. Это он пришел к князю Гагарину. Гагарины – наши соседи. Их дворец от нас – метрах в двухстах. И на карете не надо ездить. Хотя и ездили. Адрес легко было перепутать. И теперь перепутали. Дали художнику не тот дворец. И не страшно. Префектура – одна. И Тютчев, хотя и чаще бывал у Гагариных, несомненно, заходил и к Тутомлиным...»

Сейчас же возрос над столом полпрефекта Кубаринов и поднял вверх некий металлический предмет, украшенный камнями, возможно, жезл, а может, и какую иную столичную реликвию.

Не только замолк Дударев, но и началось действо.

Началась стрельба.

Испорченный бытом и служебными стараниями, Шеврикука подумал сразу, что стали рваться газовые баллоны. Но нет, баллоны должны были бы издавать иной звук. Да и не держали в доме ни баллонов, ни газовых колонок. Стрельбу во дворе вела артиллерия, и это был салют.

Двадцать один раз вскидывал Кубаринов взблескивающий камнями (или стразами?) жезл. Позже Шеврикука разузнал, что салют производили из минометов. Привычнее было бы иметь для торжественной церемонии зенитные орудия, но договориться со службами ПВО не удалось, а минометы подвернулись. После выяснений интересов с коммерсантами энской воинской части минометы с персоналом были введены на Покровку, во временное

пользование. Кубаринов просил салютовать холостыми минами, но чтоб погромче. «У нас нет холостых, – было сказано. – Но коли будет какая любезность, то, пожалуйста, ни одна мина не разорвется в вашей префектуре, а эксклюзивно для вас – за ее пределами...» Эти обещания успокоили Кубаринова, и он распорядился выдать воинам четыре ящика тайландских гуманитарных презервативов многоцелевого назначения. И точно, все приветственные мины полетели в чужие префектуры, к тому же иные из них подхватил ветер, дувший с северо-запада, и они разорвались вовсе во Владимирском государстве, вызвав воспаление и пожары мешерских торфяников. Кстати, минометы с персоналом утром назад никто не потребовал, и они потом были якобы приобретены чукотскими охотниками на моржей и отправлены куда следует. Якобы и на нартах с собачьими упряжками. Впрочем, это Шеврикуку уже не интересовало.

После салюта был произведен тост с намеками на международное доброжелательство.

И только рюмки опустились на белые скатерти, в черных проемах окон, отчасти заслоненных панно, увиделись то ли сполохи, то ли разводы северного сияния, то ли вспышки великанских бенгальских огней, при этом треск за окнами стоял неимоверный. «Шутихи! Шутихи! – шепотом потекло за столами. – Русские шутихи!» «Салют, шутихи, вечерние наряды Дударева, наблюдателей этикета или услужителей, охотничий рог, – подумал Шеврикука. – Это и есть, что ли, – на уровне Екатерины в Кускове? Хорошо хоть Кубаринов не назначил себе исторический костюм...»

Полпрефекта Кубаринов и гости пребывали в двадцатом столетии, а услужители и Дударев, днем ходивший во фраке, скорее всего, в конце восемнадцатого. Почти все гости (среди них имелись и четыре деловые дамы) учли требования вечернего приема, лишь двое из них явились в легких свитерах и спортивных куртках. Надо полагать, это были американцы, и очень богатые. В Кубаринове все тоже соответствовало вечерней церемонии. Кубаринов был высок, строен, умел красиво носить костюмы, вид имел гордый, неподкупный и отчасти суровый. Любой, забывший о чести, взглянув на Кубаринова, обязан был затрепетать, утратить иллюзии, осознать, кому он, подлый человек, вознамерился предложить сделку, вспомнить о Страшном суде и только тогда отправиться в соседнюю префектуру за счастьем. Вот такие мысли способен был внушить Кубаринов.

Вечерней униформой атлетов-услужителей стали екатерининские парики, красные кафтаны кармазинного сукна, голубые камзолы, короткие нанковые панталоны, серые чулки и толстые башмаки с высокими каблуками. Какими глазами глядели на наших молодцов четыре деловые дамы! И латиноамериканец тоже. Отправь их на двести с лишним лет назад в Царское Село, одень каждого кавалергардом да расположи их по местам прогулок императрицы. Хватило бы у нее потом сил и энергии для потушения пугачевского пожара? Не знаю, судить не смею. Шеврикука против атлетов-услужителей ничего не имел, но в костюмах их его нечто смущало. Или раздражало. А вечерний Дударев поначалу вызвал иронию Шеврикуки. Потом он привык к Дудареву, живописен был Дударев, живописен, ничего не скажешь. Костюм ему выдали (или он сам его выбрал) влиятельного или богатого человека. Светло-серый кафтан с кружевным воротником и кружевными же отворотами рукавов, светло-серые штаны, заправленные в роскошные, выше колен, сапоги со шпорами. На перевязи слева – шпага. И опять же роскошная шляпа с пучком белых перьев, каких – Шеврикука определить не мог. Шляпу Дударев держал в правой руке и, когда следовало, производил ею изящные движения. Расчесанные темные локоны его парика отменно сочетались с уже известными усами. Префекты заводились в Москве не первый раз, и Шеврикуке пришли на ум слова из одного прежнего уложения, о котором он не собирался помнить. По тому уложению префект (полпрефекта тем более) должен был быть не вельми свирепый и не меланхолик, но тщательный в деле. Кубаринов выглядел теперь, несомненно, тщательным в деле. Дударев же был игрив в деле. И как бы упоительно легкомыслен. Но и такой нравился. Передвижения

Дударева вблизи столов были артистичны, а реплики его, разбрасываемые там и тут, способствовали всеобщему благодушию и сытости. Но когда Дударев назвал восемнадцатый век ключевым в истории дома на Покровке, Шеврикука как бы спохватился: «Но при чем тут восемнадцатый век? Это ведь не восемнадцатый век! И это не Петербург и не Москва! Это ведь Франция какая-нибудь!» Он имел в виду костюм Дударева. Костюмы такие носили лет за сто пятьдесят до Екатерины, и если во Франции, то при каком-нибудь Ришелье. Не иначе наряд этот добыт, соображал Шеврикука, в театре, в костюмерном цехе! Не иначе! (Шеврикука не ошибся. Он взбудоражился, не мог не проверить догадку и через три дня выяснил, что костюм, преобразивший Дударева, был пошит мастерицами Малого театра для актера А. Голобородько, исполнявшего роль герцога де Гиша, негодяя и погубителя Сирано де Бержерака.) Утвердившись в своей догадке, Шеврикука стал внимательнее рассматривать костюмы услужителей и в них обнаружил несоответствия и безобразия. Да что говорить, якобы золоченые якобы пуговицы были нарисованы акриловыми красками прямо по сукну. Да и кармазинное сукно это наверняка было крашеной мешковиной. Или солдатским бельем.

А что выставили на столы? Было ли на них фамильное (ну пусть и не фамильное) золото и серебро? Нет. Ни одна и малюсенькая серебряная ложка не присутствовала. Возвышались ли среди горячего и холодного золотые, серебряные, коралловые сосуды? Нет, не возвышались. И стало быть, некуда было наливать францевейны, русские ставленные и сыпучие меды, ягодные квасы и сбитни. Резвилась ли приветливо в хрустальном бассейне свияжская стерлядь? Нет, не резвилась. Гремел ли оркестр роговой музыки, ублажали ли слух певчие, плясали цыгане? Увы, увы. Ожидалась ли вообще азиатская расточительная роскошь, свойственная московским открытым барским домам? Вряд ли ожидалась. А что висело над столом? Может быть, висела на цепях, обернутых гарусом и усыпанных медными золочеными яблоками, большая люстра-паникадило? Отнюдь нет. Стыдно сказать, но, наверное, на днях, а то и вчера в спешке провели времянку и на ней укрепили доступный обывателю с умеренными доходами светильник о семи рожках. Да кое-где поместили декоративные жирандоли. А вместо оркестра и цыган музыкальную стихию праздника создавали три черных человека с унылыми лицами – надо полагать, из крепостных. Один – со скрипкой, один – с виолончелью, третий – при флейте. На столе, конечно, кое-что имелось. И горячее, и холодное, и жидкое. По нынешним временам это дорого стоило. Или ничего не стоило... Ну и что? Ему-то что? Все идет, как идет. Ему-то какое дело! Он прибыл сюда развлечься, поглазеть и полюбопытствовать. И все. Он не платил за вход и всем должен быть доволен. Что он ворчит! Или у него не отходит желчь? Из гостей никто не ворчал. И кривоватый шнур светильника их скорее умилил, нежели рассмешил. А уж скрипка, виолончель и флейта тихо растрогали очарованных странников.

Вот и уже многие тосты были произнесены в поддержку новых веяний и столбовых дорог. Вот уже и полпрефекта Кубаринов отяжелел, но все же не переставал пережевывать что-то. И будто обещал каждому нечто хорошее и недвижимое. Иногда он говорил с долей меланхолии: «Да. Все мы легитимитчики». И тыкал вилкой в иностранную шпроту. «Экие они теперь худые стали...» А Дударев порхал от собеседника к собеседнику. К нему и тянулись. После того как все скушали по куску свиного бока на углях, в гостиную были внесены три карточных столика и скромно поставлены возле панно с храмом Успения на Покровке. В барских домах за такими столиками играли в ломбер, бостон, пикет, крибедж зазорные дамы – часто и на бриллианты. «Небось с «Мосфильма», – предположил Шеврикука.

– Знали бы вы, какие люди сидели за этими столами! – с пафосом произнес Дударев. – Какие личности за века являлись в ваш дом! Хотя бы и на полчаса. Какие личности здесь квартировали! Какие личности здесь проживали хозяевами! Могли ли совсем покинуть этот дом их тени и духи? Не верю! Не верю!

Проспекты с поэтажными чертежами здания были розданы гостям, Дударев посоветовал иметь их перед глазами.

«Вот, скажем, обратимся к помещению под номером двадцать семь. Все нашли? Здесь держал свою библиотеку Сергей Васильевич Тутомлин. Он считал себя виноватым перед убиенными на эшафотах женщинами и собирал все, что было сочинено и издано о них, в частности, о Марии Стюарт и Марии Антуанетте. Другого такого собрания не было в Европе. Там имелись даже записки ювелиров Бремеров с раскрашенными рисунками и судебными документами по поводу имевшего приключения ожерелья французской королевы. В соседних комнатах стояли кресла Марии Антуанетты и мебель герцога Орлеанского, там же хранилась коллекция драгоценных табакерок, тростей и палок разных королей и прочих исторических особ. Этот богатый Сергей Васильевич, выйдя в отставку, позволил себе в Париже вместе с приятелем князем Лобановым-Ростовским взять в аренду парк Фонтенбло, возить туда на пиры актеров на тройках в русской упряжи, а потом еще и основал в Париже яхт-клуб. Или возьмем помещение под номером двенадцать, это ближе к северному флигелю. Другой Тутомлин, Платон Андреевич, отплававший навигатор, летом – садовод и патриот картофеля, устроил при камине в помещении под номером двенадцать первый в Москве инкубатор на пятьсот цыплят, и они с удовольствием вылуплялись из яиц и в морозные дни. Дело и нынче небесполезное. Или отправимся в другой угол здания. Берем сразу помещения под номерами тридцать девять – сорок три. Был в доме мрачный период, когда хозяйничал в нем миллионщик Бушмелев, сибирский и окский заводчик, женатый на одной из графинь Тутомлиных. Это был деспот, душегуб и синяя борода. Графиню он затравил. Сыновей он пережил, изломав им судьбы. Сам же умер чуть ли не столетним. Но в доме уже был приживалом, безумным и нечистоплотным. И если верить преданию, был до смерти заеден насекомыми. Полагали, что и дух его изъеден, не имел сил и позволения покинуть здешние стены. Правда, за двести лет ни разу и никак себя не проявил. (При словах о насекомых Шеврикука незамедлительно убрался в безопасную местность.) Но до того, как быть заеденным, этот Афанасий Макарович Бушмелев сам многих заел. Держал на всякий случай разбойников в муромских лесах, недалеко от окских заводов. Мог не только своих работников в назидание другим сбросить в колодец или уморить голодом. Были доступны извергу и дворяне. В особенности мужья приглянувшихся красавиц, не пожелавшие предоставить жен для удовольствия Афанасия Макаровича. Одного из них Бушмелев погубил, огнем уничтожив его усадьбу. Другого заманил на завод, а там приказал швырнуть несговорчивого в доменную печь. И жил безнаказанно. В помещения под номерами тридцать девять – сорок три доставлялись Афанасию Макаровичу местные женщины, иные и сами рвались туда, что-то, а необузданные страсти Москве всегда были свойственны. – Тут в интонациях Дударева явно выявилась гордость. – Кстати, Бушмелев располагал двумя спальнями – обыкновенной и парадной, в той стены были обиты красным штофом, и с двух портретов наблюдали за происходящим император и императрица. Опять же, если верить преданиям, при Бушмелеве и замуровывали, кого и где – неизвестно. Однажды в доме производили ремонт. И тогда якобы плотники обнаружили в парадной спальне потайную дверь, а за ней потайной ход, а потом и подвал, а в нем – кости и черепа. Правда, вскоре пропали плотники, пропала и потайная дверь. Уже в наши дни исследователи, дотошные, надо сказать, договорившись с криминалистами и получив на Петровке чуткие аппараты, пробовали отыскать тайники и замурованных пленников, но, увы, не отыскиали. Приводили и собак, ученые собаки лаяли, скулили, отказывались от угощений и тоже ничего не отыскиали.

Опечалившихся или даже помрачневших гостей Дударев принялся успокаивать. Конечно, были среди обитателей дома черные натуры, изверги и грешники, но не все же из них позволяли себе швырять соперников в расплавленный чугун. Конечно, не все. При этом нельзя не заметить, что мрачные готические драмы всегда придавали историческим

зданиям особый шарм. Или даже особую цену. Но это так, мимоходом. А куда больше проживало здесь людей воспитанных и приличных. И весельчаков. И простодушных весельчаков. И весельчаков-проказников. Весельчаков-повес. Вот, скажем, вспомним Константина Петровича Тутомлина, племянника уже упомянутого графа Сергея Васильевича, да, да, того самого, что брал в аренду Фонтенбло. Этот Константин Петрович и веселил и сердил публику. Что ни день – то дуэль или ожидание ее. Ходил вечно с зашнурованным рукавом мундира или сюртука, все лицо в шрамах. Оттого был особенно приятен дамам. Но злобы и высокомерия в себе не носил, а просто был весело-бесстыжим. Проказы же любил рискованные и чаще всего – напоказ, с намерением доставить удовольствие приятелям, таким же, как он, шалунам. Уж как некорыстно было шутить с императором Павлом, а он шутил. Хрестоматийный случай из практики отечественных повес (сыновья иных из них затевали потом декабрьский бунт). Однажды Константин Петрович, а он был в карауле во дворце и оказался в обед дежурным за столом, дернул государя императора за косу, да так, что Павел вскрикнул от боли и, естественно, разгневался. Наш шутник объяснил свой поступок верностью уставу и стараниями в связи с несовершенствами в его исполнении, коса императора якобы лежала криво и нуждалась в выпрямлении. Император, подумав, одобрил педанта, но попросил в другой раз создавать прямую линию осторожнее. Но в другой раз Константин Петрович держал пари по иному поводу. Теперь он пообещал понюхать табаку из табакерки императора. Опять дежурил во дворце. Утром подошел к кровати спавшего Павла, взял его табакерку и зафыркал со вкусом, пригласив государя проснуться. Опять гнев, опять недоумения. Константин Петрович сказал, что вдохнуть табак ему необходимо, дабы после восьми часов бдений отогнать сон: «Я полагаю, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». Павел заключил: «Ты совершенно прав, но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе». Из слов Дударева выходило, что табакерка с бриллиантами – приз юного пострела – долго хранилась в доме на Покровке и лишь зимой восемнадцатого года была выменена на полпуда перловой крупы и что сам император однажды посетил усадьбу Тутомлиных. «Это наш северный Дон Кихот или, как считали другие, бедный петербургский Гамлет, – стал просвещать Дударев иностранных невежд. – С очень хорошими задатками и намерениями, но до обидного неуравновешенный и взбалмошный политик. Комплексы детства, тяжелых снов, предчувствий и прочее...»

У Шеврикуки стали дергаться временные тараканы усы. Он слышал и про косу, и про табакерку. Но в истории с косой действующим лицом называли одного из князей Голицыных. Впрочем, вспомнил Шеврикука, выпрямление косы императора приписывали и еще одному беспечному шутнику – пензенскому дворянину и ехидному стихотворцу Копьеву. Где двое при одном подвиге, там возможны и еще десять героев. Среди них и наш Тутомлин. Хотя порой Шеврикуке казалось, что Дударев или привирает, или путает. Да что казалось! Ясно было. В Тутомлиных или в обитателей дома превращались совершенно посторонние люди, или же этих обитателей Дударев одаривал чужими поступками, мыслями, судьбами или свойствами. Либо же Дударев был просто неосведомленным человеком и фантазировал теперь сгоряча о персонажах, подсказанных ему начитанными людьми. Либо он все же знал кое-что, но имел целью продать товар и суетился приказчиком-искусителем. «Но уж больно он искательный – нет в нем истинной московской степенности, – подумал Шеврикука. – Но где теперь в Москве степенность? У кого?» А Шеврикука ценил степенность и полагал, что настоящие москвичи рождаются степенными и тяжелыми на подъем. Но был ли сам он когда-либо степенным? А Дударев уже рассказывал о лабиринте еще одного Тутомлина – графа Федора. Этот, по воспитанию – англичанин, хоть и дослужился позже до чина полковника, долго оставался совершенным шалопаем. Кто только не являлся в ту пору в наш дом, нередко и крикливые гуляки, и отпетые проходимцы. Ну и конечно, кредиторы. Однажды граф Федор раздосадовался и додумался. Примерно вот здесь, прошу снова взять в руки

проспект и обратить взгляд на помещения номер девяносто два – девяносто три, в подвалах под ними, он устроил, по легенде, лабиринт-укрытие. Лабиринт как будто бы и не малый. Секреты его ходов и, естественно, выходов знал лишь чертежник и устроитель граф Федор. Якобы где-то в углу лабиринта граф имел кабинет своего одиночества с библиотекой и коллекцией восточных диковин. Когда приходили в дом неприятные посетители и уж тем паче требователи долгов или печальные надоеды из суда, граф Федор исчезал в лабиринте, курил кальян и, отгоняя сплин с мигренью, рассматривал восточные диковины. Но опять, увы, увы, расстроил слушателей Дударев, есть легенда и нет лабиринта. Возможно, его и вовсе не было. «Как же, не было! – обрадовался Шеврикука. – Был! Он и теперь есть!» Тотчас же Шеврикука оборвал себя, мало ли, вдруг мысли его были кому-то интересны, а из мыслей этих можно было вызнать о сегодняшних открытиях Шеврикуки. А ведь не исключено, что он наткнулся и на убежище графа Федора. Но – тсс-с об этом!

Дударев все же не отвергал совсем легенду о лабиринте. Тем более что у приятеля графа Федора, Петра Разумовского, тоже умевшего жить азартно, неразумно, но весело, хитрый лабиринт в Одессе доподлинно был. Вдруг обнаружится и лабиринт графа Федора. Но чем хуже лабиринта, скажем, графиня Ольга Константиновна? Однажды, было дело, она привезла из Вены четыреста восемьдесят платьев. Но тогда она была еще сорокалетняя красавица. А вот накануне коронации Александра Второго, позже Освободителя, она, чтобы не опечалиться и соответствовать себе и случаю – при европейском-то бездорожье! – в несколько дней съездила в Париж и привезла к торжеству приличные туалеты. А было ей восемьдесят семь лет. Одной из ее примечательных ровесниц слыла Екатерина Мосальская, известная в Москве и других столицах как полуночная княгиня, или принцесса Ноктюрн. Той серьезные гадалки пообещали смерть ночью, во время сна, и она в темную пору более не спала, а проводила у себя или в гостях бурные ночи, конечно, в оживленной компании, конечно, с литературными и философскими беседами, с чтением мадригалов и музицированием. Обратите внимание на помещения под номерами тридцать два и тридцать четыре, там, случалось, по ночам блистала остроумием и нарядами бросившаяся в бега от судьбы Принцесса Ноктюрн. Кто только не был в доме! Все, похоже, были. И Наполеон? Вы спрашиваете: «И Наполеон?» Нет, Наполеон в двенадцатом году наш дом, увы, не посетил. Маршал Мюрат в поисках фуража здесь был, а Наполеон – нет. Совсем было уже подъехал сюда, но у него на Мясницкой сломался возок. Зато не раз кареты привозили на Покровку божественную мадемуазель Жорж, чья декламация покорила театралов Петербурга и Москвы. Этой мадемуазель Наполеон, говорили, оказывал в часы досуга любовные услуги, и в доме Тутомлиных хранилось короткое, но сострадательное послание корсиканского забияки, написанное им в дыму пожара. Не доехал возок, сломался, это случается, но вы не подумайте, что возле дома Тутомлиных припарковывались экипажи менее дорогие, нежели сегодняшние лимузины наших бесценных гостей. Всегда находились любители роскошных выездов, щегольских средств передвижения, в Риме – колесниц, в свободной стране Махно – тачанок. И как же Москва без щеголей? Один из здешних состоятельных любителей заказал в Лондоне карету за восемьдесят тысяч рублей золотом, но, опробовав ее при доставке из страны-производителя, посчитал слишком грузной и отправил на покой. А иные же модники подъезжали на Покровку в экипажах с золотыми колесами, кучеров своих обряжали в кафтаны с бриллиантовыми пуговицами, на одну такую кучерскую пуговицу, наверное, можно было бы теперь приобрести не худший автомобиль... – тут Дударев обвел взглядом гостей и проявил деликатность... – северокорейского производства. Толстосум швед фыркнул, а японец произнес басом: «Пожалуйста! Да! Пожалуйста!»

А бестактный латиноамериканец пристал к Дудареву с интересом к личности Григория Ефимовича Распутина. Опять коверкал натуральные московские слова, острый голос его драл уши, как напильник. Рачительный Дударев одарил латиноамериканца и Распутиным.

«Был Распутин! И Распутин был! Но недолго. Взял две простыни и ушел в баню». И Блок Александр Александрович был. С Менделеевой. Тот обедал. Особенно нравились Любове Дмитриевне уха с ушками-кондюбками. Вторую порцию ей моментально приносили вон через ту дверь. Пар валил. «Возле кухни, нам сказали, – опять встрял латиноамериканец, – был ход в подвалы времен Ивана Грозного». «Его заложили. Там масоны...» – отчего-то засмутился и заспешил Дударев. Оказывается, были тут и масоны, короткий срок, ну их к лешему. И Николай Иванович Новиков, еще не отправленный в крепость, похожий на пастора, заходил к хозяевам в гороховом сюртуке и с магической палкой. Ну и ее к лешему! И Чаадаев бывал, а как же. Впрочем, может быть, эти имена, как глубоко местные, и незнакомы почтенной публике. Заводились в доме и чернокнижники. И знатоки Зодиака, прошедшие обучение в Сухаревской башне у главного тайновидца Якова Вилимовича Брюса. И граф Калиостро, будучи с секретной миссией в Москве, именно в этой гостиной давал однажды сеанс страшных чудес с электрическими искрами и мгновенным отрастанием волос на голой голове камергера Войцеховского. И дальше предъявлялись собеседникам личности, имевшие отношение к дому на Покровке. Карлы и карлицы. Воспитанницы из калмычек. Шуты-дураки и шуты, валявшие дурака, сами же резавшие правду-матку. Крепостные актеры, на которых с завистью посматривали и Шереметевы, и граф Каменский. Бомбометатели из эсеров. Борис Савинков, две ночи в восемнадцатом году прятавшийся на чердаке от чека. Гетман Мазепа. Да, и Мазепа. Ему метрах в трехстах отсюда в Колпачном переулке отвели резиденцию, прекрасные палаты, они и теперь стоят, можете пройти, в них шарашат сувениры а-ля русс, покупать их убедительно не советуем. Гетман и в возрасте был хорош, любил всяческие приключения, уроки светской охоты получил в Польше вблизи ножек ясновельможных пани и, дважды являясь в Москву, как-то за орденом, как-то для беседы с Петром, естественно, не мог не заглянуть в дом, всегда славный своими красавицами. Однако кончил этот авантюрист плохо – проиграл, бежал, конечно, в Бендеры. Там умер, там лежит и теперь. Что же касается золота, называемого нынче бочонком полковника Полуботка и разыскиваемого киевской казной в английских хранилищах, то Мазепа его с собой не возил и тем более, даже пусть и будучи кем-то очарованным или в волнении, не оставлял его на Покровке. В этом нет никаких сомнений. И те, кто связывает свои интересы к дому с золотом Полуботка, трагедийно заблуждаются, им следует искать удачи в иных местах и префектурах. Последние слова Дударева вышли, пожалуй, не слишком вежливыми. Обеспокоенно заерзал Кубаринов, заявление Дударева показалось ему не лестным для префектуры, выходило, будто в ней чего-то не хватало для искателей удачи. Полпрефекта встал, но произнес нечто невнятное. Толмачи из числа наряженных услужителей переводили его текст долго.

– Бонапарта подвел возок, – вяло и словно бы самому себе, но все услышали, сказал гость в свитере, хотелось верить, филадельфийский миллионер. – Мазепа не захватил бочонек Полуботка. И умер не здесь, а в Бендерах. Можно подумать, что и привидение в доме лишь собиралось завестись, но не завелось.

– В доме было привидение, – резко сказал Дударев. – И оно есть.

– И не одно. У нас этих привидений... – широко, по-державному развел руки полпрефекта, он был сейчас барин и желал всех приветить и одарить. – Здесь столько теней и душ, загубленных и загубивших, столько... Вот можно подать хотя бы этого... который швырял в домну... Бушмелев. Да, Бушмелев. Пусть он покажется. Что он залеживается?

– Иные готовы всю нефть выкачать из недр. Бушмелев за два века никак не проявил себя. Ни запахом, ни стоном, ни действием. Его время не пришло. Сегодня у нас одно привидение, – Дударев был тверд. – По всей вероятности, женское... И я вас не понимаю, Вадим Александрович. У нас теперь рынок. Коммерция требует прилежания...

– Ах, да, да, да! Рынок! – спохватился Кубаринов. И объявил, став уже строгим баринном: – Сегодня у нас одно привидение.

– Давайте хоть одно! – потребовал толстосум швед.

– Да! Пожалуйста! – поддержал его японец. – Привидение!

Дударев, обращаясь к толстосуму шведу, японцу и филадельфийцу в свитере, выкинув вперед руку с герцогской шляпой, высказал мнение, что было бы дурно подавать привидение к столу. К тому же привидению не прикажешь. Оно само по себе и обладает свободой выбора. Можно только надеяться, что оно появится добровольно, ощутит безвредно-бескорыстный интерес к себе и ответит на него своей энергией. А выходы покровского привидения, по преданиям и долголетним свидетельствам, происходят в приемлемую для него пору.

– Привидение! – заорал толстосум швед.

– Да. Пожалуйста! – обрадовался японец. – Северные территории. Привидение. Пожалуйста!

– Привидение! С мороженым! – напильником по ушам провел бестактный латиноамериканец.

– У Бонапарта на Мясницкой сломался возок, – вежливо напомнил филадельфийский мультимиллионер.

– У нашего привидения, – гордо сказал Дударев, – нет никакой необходимости добираться сюда в возке.

«Блефует? – подумал Шеврикука. – Или и впрямь смогли выйти на Гликерию, улестить ее или заставить? Этого еще не хватало!»

Осадив, как ему показалось, бузотеров, Дударев опять стал навязывать публике исторические сюжеты, теперь уже от нашего столетия, с энтузиастскими и вампирными историями тридцатых, сороковых и прочих годов. Вплелись в его рассказ революционеры, сыщики, председатели домкомов, сочинители мокрых доносов, какой-то почтенный железнодорожник, стилиги, простодушные валютчики, уплотнения жилплощади, октябрины младенцев, провинциальные всплески дальней сексуальной революции. «Привидение!» – опять заорали неугомонившиеся. «Пожалуйста!» – теперь уже с угрозой потребовал японец. Требовал без всякого акцента, басил, и, не видя его, можно было подумать, что это требует и не японец, а сибирский мужик. Дударев все еще бормотал что-то о необходимости дожидаться момента сгущения полей и энергий, о том, что непременно надо выслушать прибереженную им напоследок историю привидения. Да и не одну эту историю. А несколько историй здешних красавиц с умопомрачительными поворотами судеб, с каскадами страстей и драм. «Не надо! Не надо историй! Подавайте привидение, и сейчас же!» «Да что они, угорели, что ли? – недоумевал Шеврикука. – Да и чем привидение замечательнее, скажем, домового Пелагеича?»

А уж и самые тихие дотоле гости кричали и топали ногами, требуя привидения, и сейчас же! «Оно здесь не выйдет! – убеждал Дударев. – Оно здесь не выйдет! Оно не является в гостиную! Оно лишь внизу! Оно при свечах...»

– Вниз! В подвалы! В подземелья! – нервически вскричал латиноамериканец. – И свечи! Берите свечи! – Вскочили не только иностранные охотники, но и все, кто их занимал беседами с обхождением, а за ними и черные музыканты, вскочили, бросились к столикам со свечами у выхода из гостиной, разобрали, расхватили свечи, столики уронили на пол, кто-то указал: «Вон тем коридором! Тем!» – и неслись тем коридором, а куда – неизвестно, в темноту, в темноту, к привидению, толкались, ударяли друг друга локтями, лбами, ногами, били кулаками, бранились, оскорбляя при этом в высокомерии самоуважения малочисленные народы и малые государства, добежали, дорвались до лестницы, ведущей вниз, узкой, горной, чуть ли не винтовой, выложенной плитами известняка, подобные ходы в шестнадцатом веке устраивали внутри стен в боярских палатах и воеводских домах, прыгающий свет факела лишь немного облегчал движение, на лестнице вопили, стонали, матерились, всякий по-своему, и все же никто не погиб, не был задушен, измят или изодран в клочья.

Прорвались, добежали, в подвале, в подклети при свете факела уселись на деревянные лавки под сводами из тесаного мячковского камня.

А дальше что? Что дальше? Куда неслись? И зачем?

19

Сидели, притихнув или устыдившись, и будто ждали теперь укоров или даже березовых розог, оберегали зажженные свечи. И похоже, были напуганы. Порой шептали что-то. Или молились. Среди прочих тихих слов Шеврикука (а он из опасения быть раздавленным на лестнице из таракана переоделся в дрозофилу, в подвале же пожелал стать пауком) услышал и на русском: «Сюда бы сейчас Всемирную Свечу. Да, Всемирную Свечу...» Слова эти Шеврикуку поразили.

Всемирная Свеча! По случайности ли было сказано так? Или это произнес человек знающий? И произнес не зря? Памятны были Шеврикуке впервые высказанные народу фантазии (или мечтания?) о Всемирной Свече, памятны были и страшные события, вызвавшие эти фантазии. Лучше было о них не помнить. И не надо было помнить, что недавно Всемирная Свеча встретила его в бумагах Петра Арсеньевича. Шеврикука приказал себе забыть о Всемирной Свече. И более о ней никто не шептал и не шутил.

Пауком Шеврикука провисел сначала на короткой нити у опорного столба с распадубкой. Обустройству уделил секунду. Но нашлось время и сплести сначала гамак, потом беседку с кружевами и узорами, а потом воздушный замок со смотровой башней. Плести паутину приходилось от скуки. Так он говорил себе.

Привидение не являлось.

Дударев в подвалах вел себя тихо, лишь раз деликатно высказался о том, что без сгущения полей и энергии все равно не обойтись и надо набраться терпения.

А публика тем временем опять стала нервничать. Хотя чувства выражали здесь шепотом и с опаской. Испорченным телефоном передавали Дудареву, как несомненному авторитету, вопросы и простодушные желания. Где оно может появиться и в каком виде? Будут ли звуки? Возможно ли общение с привидением и если да, то каким способом. Включены ли в программу эротические сцены и позволительно ли в них участие? Пользуется ли привидение туалетом или в нем совсем прекращен обмен веществ? А если пользуется, то где этот туалет и будет ли он доступен зрителям и за какую плату? И так далее. Некоторые егозили, вертелись на лавках и не только спрашивали, но уже и давали советы. Одна из деловых дам позволила себе даже съехидничать, поинтересовавшись, не придется ли привидения выклянчивать. И пошли советы, как привидение вызвать. И духов, если не откликнутся. Либо заклинаниями. Либо шаманским камланием с бубном. Либо приношением жертвы. Добыть животное, хотя б и кота, а в крайнем случае – пса, таксу или пуделя, прибить его в магическом месте гвоздями к чему-либо деревянному, чтобы были лужа крови и стенания под сводами. Дударев эти предложения отверг как неприемлемые, сославшись на особенности московской духовной жизни. Сообщил лишь, что звуки и стенания возможны, но внятных слов и тем более фраз от привидения никто не слышал. Общаться оно, если пожелает, станет знаками. Тут Дударев поднял руку со свечой и произнес:

– Тсс-с-с!

«Что? Где? Ой! – вскрикнула одна из дам. – Вон! Там!» – «Что? Где? Где? Что?» Заходили, задергались огоньки свечей, возникло колыхание стен, они задергались тоже, поплыли куда-то, вправо, влево, вверх, вниз, в глубины земли. «Вон! Вон! Оно наплывает, оно неведомо-нежное, оно в бурых пятнах!» – «Где? Где? Где в пятнах?»

– Тсс-с! – раздалось снова. Нижние палаты дома Тутомлиных (теперь – подполье) для гостей были черны, зловещи, неведомы, не измерены. Шеврикука их узнал и измерил. Они были велики. Веками в них хранили припасы, товары, оружие. В последнюю войну в них устраивали прачечную для ближних госпиталей. Чем только позже не захламляли и не позорили палаты! В них и теперь после долгих мучений реставраторов лежал хлам. До без-

образия необязательный. Грифы, блины штанг, мишени для пулевой стрельбы – от домашних атлетов, запрещенных вмиг. Брошенные сантехниками, чтоб далеко не волочь, ванны, унитазы, радиаторы, дырявые и ржавые. Рваные татами, подстилки для юных балбесов. Остатки трапез и меланхолических бесед забредавших сюда по случаю бражников. Теперь во мраке объявленного Дударевым сгущения полей и энергий подземелье для гостей было пространством тайны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.